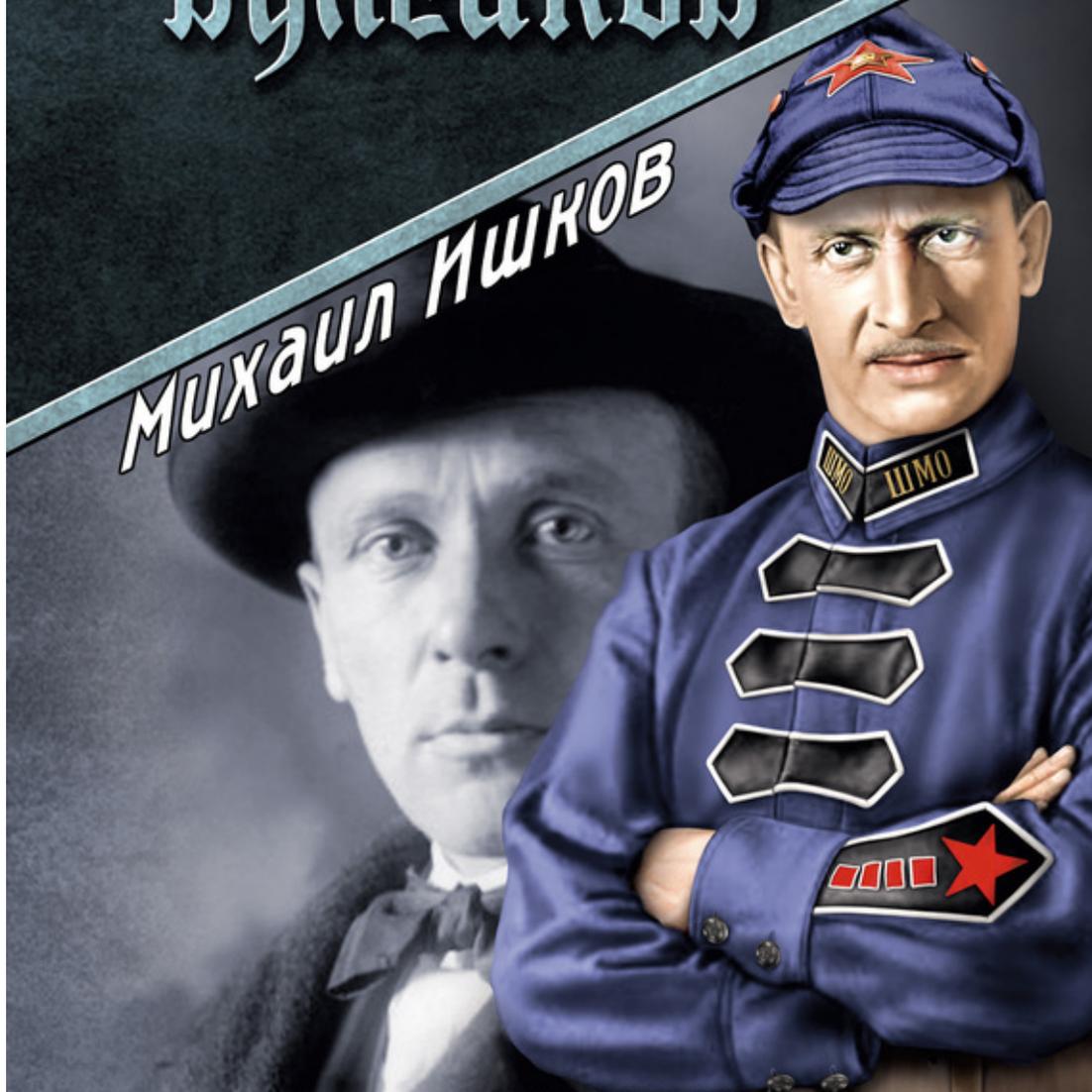


# Операция "Булакков"

Михаил Ишков



секретный фарватер

**Михаил Никитович Ишков**  
**Операция «Булгаков»**  
Серия «Секретный фарватер»

[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=10399642](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=10399642)

*М. Ишков. Операция «Булгаков»: ООО «Издательство «Вече»; Москва; 2015  
ISBN 978-5-4444-7789-2*

**Аннотация**

Михаил Афанасьевич Булгаков (1891–1940) – один из редчайших русских писателей, чья творческая судьба напрямую связана с обстоятельствами его жизни.

Давно замечено, что в биографии Булгакова есть таинственные недоговоренности. Читал ли Сталин «Мастера и Маргариту»? Встречались ли они? Почему репрессии обошли его стороной? «Забыли» или продолжала действовать «охранная грамота», выданная в виде телефонного звонка в апреле 1930 года? Что же касается попыток отыскать прототипов персонажей, то здесь путаницы еще больше...

## Содержание

Вступление	5
Часть I. Комиссар с копытом	11
Глава 1	11
Глава 2	15
Глава 3	20
Глава 4	25
Глава 5	31
Глава 6	41
Глава 7	50
Конец ознакомительного фрагмента.	59

# **Михаил Ишков**

## **Операция «Булгаков»**

© Ишков М. Н., 2015

© ООО «Издательство «Вече», 2015

## Вступление

*Ist es möglich<sup>1</sup>*

Записки И. Н. Понырева, а также другие материалы, относящиеся к жизни и судьбе Михаила Булгакова, свалились мне буквально как снег на голову.

На поминках небезызвестного Николая Михайловича Трущева один из гостей подошел ко мне и предложил прикоснуться к «тайнам минувших эпох».

Затем многозначительно добавил:

– Причем к одной из самых охраняемых...

Старикан представился – Рылеев Юрий Лукич, исследователь творчества Михаила Булгакова, затем признался, что в «былые времена служил по линии наблюдения за литературной средой».

Подсек меня Лукич на ошарашивающий вопрос.

– Как вы считаете, молодой человек, читал Иосиф Виссарионыч роман «Мастер и Маргарита» или нет?

Мне очень хотелось ответить – черт его знает?! – однако с выдержкой у меня все в порядке. Я изобразил на лице высшую степень заинтересованности. Положение малопризнанного текстовика, желающего хотя бы в узких кругах прослыть солидным деловаром на книжном рынке, обязывало не проходить мимо даже самых вычурных и бесперспективных предложений.

В разговоре Юрий Лукич обмолвился, что в поле зрения органов Михаил Афанасьевич попал в 1922 году, когда завязал тесные отношения со «сменовеховцами», точнее – с литературным приложением эмигрантской газеты «Накануне», которое возглавлял Алексей Толстой.

– Все это время, – продолжил Рылеев, – документы на Булгакова хранились в одной папке со всей этой разношерстной компанией, искавшей для России «третий путь», а персональное дело, насколько мне помнится, было заведено в сентябре двадцать шестого, когда во МХАТе состоялся прогон «Дней Турбиных, о чем Булгаков упоминает в «Театральном романе»...

Затем загадочно добавил:

– Или не упоминает... В любом случае, без участия Петробыча здесь не обошлось.

Он по-чекистски пристально глянул на меня. Пронзил, так сказать, взглядом, словно проверяя, дошел ли до меня пароль и не брошусь ли я наутек, услышав заветное слово.

Помнится, Петробычем называл Иосифа Виссарионовича Трущев...

Я тоже ответил взглядом, настолько искренним, насколько может быть искренним взгляд гражданина, пережившего застойные восьмидесятые, перестройку, ельцинщину, разгул олигархического капитализма и так называемую «суверенную демократию».

Мы договорились о встрече, и уже дома, осознав, что мне не избежать очередного литературного путешествия, а для этого придется вновь шагнуть за горизонт, – я крепко перебрал с напитками.

Исследователь!..

Творчества...

Ага, по линии спецслужб.

Везет же мне на этих исследователей!..<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Это возможно.

<sup>2</sup> Михаил Булгаков и его романские герои, именуемые в дальнейшем «оперативной группой Воланда», проходили по

С другой стороны, интерес к такой неоднозначной фигуре, как М. А. Булгаков, испытывали все, кому не лень – от инженеров-компьютерщиков и радиотехников-изобретателей до критиков от богословия и бесчисленных друзей, после обретения писателем заслуженной славы активно заявивших о себе воспоминаниями. О профессиональных литературоведах и говорить нечего, так что в подобной компании сослуживец Трущева вовсе не казался белой вороной. Наоборот, как раз в его руках могли сохраниться какие-то неизвестные свидетельства жизни Михаила Афанасьевича.

Мы договорились о конспиративной встрече, и спустя несколько дней я отправился в гости к Юрию Лукичу.

Для начала хозяин угостил меня чаем. Затем, обрадовавшись собеседнику, поведал о своем нынешнем житье-бытье. Поскольку каждый Рылеев должен любить свободу и бороться с несправедливостью, Юрий Лукич, как только представилась возможность, сразу и охотно вышел на пенсию и устроился литературным обозревателем в одной из центральных газет.

По его словам, с Трущевым они спелись на садовом участке под Вороново, где, совместно копаясь на грядках, замаливали грехи режима. Там, по-видимому, Николай Михайлович, чувствуя, что силы на исходе, а работу над поиском согласия прерывать нельзя, передал меня на связь новому резиденту.

Упомянув о Трущеве, Юрий Лукич вновь пронзил меня многозначительным взглядом.

– Николай Михайлович очень хвалил вас. По его словам, у вас есть хватка и остатки ответственности. Этого вполне достаточно.

Он помолчал, затем ненавязчиво попросил помочь в «одном незавершенном деле».

– У меня сохранилась подборка документов, касающихся Булгакова. В первую очередь агентурно-осведомительные сводки, составленные по итогам оперативно-следственных мероприятий, а также частные документы, письма, донесения доброжелателей. Одним словом, все то, что завалилось на Лубянке. Я поставил себе цель свести их в единый обзор, однако годы сказываются, – он развел руками. – Силенки не те, чтобы заняться серьезной аналитической работой. Мне нужен специалист, который смог бы разложить документы в соответствующем порядке – необязательно хронологическом, скорее по степени их полезности на сегодняшний день. Но, главное, литературно обработать! Именно литературно, чтобы напрочь исключить налет официоза.

Закурив «беломорину» ленинградского россыпа – где он ее раздобыл? – Рылеев обрисовал задачу.

– Обзор ни в коем случае не должен напоминать чьи-то мемуары или что-то похожее на мемуары. Разве что на воспоминания или на роман, но это должен быть объективный роман, объективные воспоминания, составленные исключительно на основе конкретных фактов и исключая всеякого рода выдумки вроде той, что Воланд – это Горький, или, что еще хуже, Ленин в юбке. Никаких домыслов – только то, что было.

И как было.

Только в этом случае есть надежда в правильном свете представить послереволюционную и предвоенную эпоху...

Такой подход, по словам Рылеева, должен помочь потомкам «не только в полной мере осознать груз допущенных ошибок», но и «яснее оценить масштабы сделанного», без чего, по мнению ветерана, нам никогда не выбраться из «помойной ямы» бесконечной российской междоусобицы.

---

четвертому отделению Четвертого (Секретно-политического) отдела Главного управления государственной безопасности Народного комиссариата внутренних дел СССР, а на служебном жаргоне: «4 отд. СПО ГУГБ НКВД СССР».

Он наклонился ко мне и доверительно поделился:

– России не так много, как кажется. Нельзя пускать этот процесс на самотек.

Затем Рылеев вкратце поведал, как эти свидетельства оказались в архивах на Лубянке и невероятно извилистым путем попали к нему.

Оказалось, даже после кончины Булгакова в марте 1940 года НКВД не спускало с него глаз. Вероятно, спецотдел НКВД не исключали, что группа Воланда еще раз наведается в Москву и на требование – где рукописи, гады?! – им с санкции верховного руководства будет четко доложено – вот они! Как известно, рукописи не горят, они должны храниться в надежном месте, особенно такие, на которых стоит гриф «особой важности».

По словам Рылеева, надеждой на арест вышеозначенной группы в верхушке НКВД не обольщались, однако на помощь в войне надеялись.

В 1944 году, когда надобность в помощи отпала, документы (в том числе и доносы на Михаила Афанасьевича) отправили в спецхран. Туда же были упрятаны и написанные по просьбе следователя СПО воспоминания Понырева, а также отчеты групп наружного наблюдения. В них отрывочно и беспорядочно излагались непроверенные и неясные по сегодняшней день фрагменты биографии писателя. В папку также вошли некоторые документы, отобранные у Булгакова во время обыска 7 мая 1926 года – прежде всего, неизвестная машинопись, названная «Чтение мыслей» – и дневниковые записи, касавшиеся встреч и разговоров Булгакова со Сталиным, как телефонных, так и на расстоянии.

Я слушал куратора и заодно приценивался к заданию. Надежды на расширенный тираж, на повышенный гонорар таяли сами собой. Кому в настоящий момент нужна «аналитика», тем более от НКВД!

Мне уже приходилось выполнять такого рода поручения, например, того же Трущева, когда под видом ознакомления с тайнами минувших эпох, меня исподволь вербовали в приверженцы нелепого выкрутаса, называемого «согласием». Оказывается, в недрах Страны Советов существовал и такой философский загиб. Предтечами подобного романтического отношения к жизни Трущев, может, в шутку, а может, всерьез, называл знаменитого нобелиста Нильса Бора, более чем подозрительного экстрасенса Вольфа Мессинга, склонного к мистификациям графа Сен-Жермена, а также небезызвестного Заратустру.

– ...магией в этих материалах, – заверил меня Лукич, – даже не пахнет, и, скажите на милость, о какой магии, черной или белой, можно вести речь, если в особом санитарном изоляторе НКВД до начала пятидесятых годов содержались два отчаянных лейтенанта из предвоенного призыва, в составе группы захвата участвовавших в нападении на небезызвестную квартиру на Большой Садовой.

Один занимал позицию на пожарной лестнице, приделанной к стене злополучного дома № 50-бис, другой в упор обстрелял в подворотне чудовищного черного кота с примусом в лапах.

Ни одна пуля не попала в цель, а если и попала, то зримого вреда продукту библейского мракобесия не нанесла.

Увертлив оказался, па-адла!.. Скакал так, что не было никакой возможности прицелиться.

От невозможности выполнить боевой приказ рассудок у комсомольцев помутился, так что пришлось поместить их в лечебницу.

Напоследок хозяин попросил меня снять с антресолей хранившиеся там материалы.

– Боюсь, руки подведут, – признался хозяин. – Годы не те.

Мы вышли в прихожую.

Я влез на табурет и распахнул дверцы. Сверху лавиной посыпались бумажные листы.

Множество бумажных листов...

С печатями и без печатей, с подписями и без оных, с датами и резолюциями, напечатанные на машинке и написанные от руки. Карандашом и чернилами. На стандартных листах и вырванных из блокнотов четвертушках. На одном из них, под заявлением о приеме в члены СП СССР, явственно проступал автограф известного писателя – сужающаяся к окончанию надпись, осененная верхней перекладиной буквы «Б». В этой груде попадались и фотографии – в большинстве своем хорошо известные, – а также какие-то разноцветные тряпочки, напоминавшие завязки от папок, скрепки, промокательные бумажки.

Отыскался даже огрызок карандаша, угодивший мне прямо в темя. Вероятно, для напоминания, чтобы умнее был...

Бумаги загромождали пол, повисли на вешалке, на каракулевом воротнике, на котором еще поблескивали капли дождя. По-видимому, Юрий Лукич Рылеев совсем недавно выходил на прогулку.

Как же их обработать? Без скрепок и завязок?.. Это же годы упорного и кропотливого труда!..

Хозяин помог собрать наследие прошлого и успокоил:

– Ничего. Потихоньку разберетесь. Я вас не тороплю.

Я вздохнул.

Петля затягивалась все туже.

\* \* \*

Уже дома, выложив на стол гору перемешанных, перепутанных, упакованных в выцветшие картонные папки документов, я решил для начала хотя бы приблизительно привести их в порядок. Разобрать по датам, по ведомственной принадлежности, составить хотя бы неполную опись, без чего извлечь из этих выцветших строчек что-нибудь отчаянно-детективное, зажигательное, с претензией на историческую весомость, было немислимо. Впрочем, по нынешним понятиям на последнее условие можно наплевать.

Лихо закручено – Ленин в юбке! Это когда же Владимир Ильич разгуливал в юбке? Возможно, в Швейцарии, когда лазил по местным вершинам в компании с Инессой Арманд?.. Перепутал, так сказать, с утречка...

Была ночь, март...

В палисаднике орали коты. Соло исполнял зловецкий черный разбойник, размерами вполне соответствовавший известному Бегемоту. Подпевал ему белоснежный пушистый ухажер. Тоже не хилый котище. Тут было о чем задуматься, тем более, что сопровождал этому истеричному дуэту надсадный лай местных собак.

Все как-то не складывалось – Рылеев, любовь к свободе, паскудное желание состряпать что-нибудь лихое на историческую тему, моя пропащая жизнь, потеря ориентиров, совдеповские привычки с повышенным вниманием и в то же время не без опасливой настороженности относиться к печатному слову, а также нежелание брать на себя ответственность.

Тот же Булгаков...

Что я Булгакову, что мне Булгаков?

Був Гаков и весь вышел.

Чем в мире, устроенном по бездушным лекалам, может помочь даже самый занимательный автор? Вспомнилась Инесса Арманд, пифия революции. Она же штурман Жорж в небезызвестном романе, которым мы зачитывались от корки до корки.

Да и сам Владимир Ильич...

Не так уж дерьмово он потрудился, чтобы наряжать его в юбку. Слава богу, знамя на рейхстаге, Гагарин в космосе, атомная бомба в кармане, а читал его упомянутый на поминках преемник булгаковский роман или нет – дело десятое. Если даже читал, в чем у меня сомнений не возникало, чем это может помочь мне?

Вспомнились восторги Фадеева, восхитившегося прозой умиравшего Гакова, его частые посещения Михаила Афанасьевича. Я читал его письма Булгакову. Если добавить, что именно Фадееву как руководителю Союза писателей СССР вменялось в обязанность информировать Петробыча о состоянии дел в самой передовой литературе в мире, а также последующую его любовную связь с Еленой Сергеевной Булгаковой, трудно вообразить, чтобы в разговоре с Хозяином Фадеев не отметил выдающиеся литературные достоинства «закатного» романа, а тот по праву сильного не познакомился с этими достоинствами...

Вот уж кого можно назвать Лениным в юбке, так это Елену Сергеевну.

Героическая женщина!..

Но какое мне дело до героизма, до страстей революционных, дореволюционных, послереволюционных?.. Что еще новенького можно узнать о пятилетках, проработках, смертельно опасных уклонах, загибах, соцсоревновании, ударниках и вредителях.

И зачем?

Казалось, все уже сказано, тоталитаризм осужден, бездна пройдена. Объективная реальность, данная нам на просвет, на ощупь и на вкус, давным-давно с помощью способа наименьших квадратов наглядно продемонстрировала – мир извращен, далек от совершенства, полеты возможны исключительно во сне, а наяву нас гнетут темные силы. Следовательно, пора набраться храбрости и смело взглянуть в лицо истине.

С другой стороны, Трущев, насколько мне помнится, так же веско доказывал, что дважды два четыре и как ни ерепенься, ни зови на подмогу иррациональные, мнимые и всякие прочие спекулятивные числа, – это не более чем попытка увильнуть от поиска согласия.

Способ наименьших квадратов вокруг пальца не обведешь...

Я вздохнул, открыл папку...

И замер.

Первой же фразой Афанасьич сумел вывести меня из скептоидического равновесия. Даже в этой трудной обстановке он убедительно подтвердил, что умеет словом подкрепить пропетые в его адрес дифирамбы.

*...выжить?!*

*Как?!*

Я подошел к окну. Собачий хор по-прежнему заливчато повествовал о превратностях земного бытия.

*...выжить?!*

*Как?!*

Что это? Крик души?.. Вопль о помощи?..

Этот роковой вопрос, со времен Гражданской войны в острейшей форме преследовавший Булгакова, с началом перестройки не менее жутко нависал надо мной, а также над теми, кто меня окружает. Они в большинстве своем русские люди, и автор, по совету Льва Толстого, обратился к ним и к тому смыслу, который они вкладывают в жизнь. Его можно истолковать так – прежняя мораль умерла, самое время определиться, как жить дальше.

\* \* \*

Что касается Ивана Николаевича Поньрева, бывший поэт, именовавший себя Бездомным, как известно, закончил истфак МГУ и некоторое время работал в Институте мировой литературы.

В октябре 1941 года профессор Поньрев записался в народное ополчение и в ноябре «пал смертью храбрых» под Можайском.

Похоронка на него пришла в декабре, а в январе на квартиру, где доходила с горя профессорская вдова Нина Власьевна, явились двое из НКВД. Люди в штатском забрали бумаги Ивана Николаевича и на прощание отоварили карточки с трудом встававшей с постели вдове. Однако этот жест доброй воли не спас Нину Власьевну. В ту зиму на Москве было чрезвычайно голодно. Не так, конечно, как в Ленинграде, но и этого недобора слабой на здоровье женщине хватило, чтобы отдать Богу душу.

Это возможно.

Михаил Булгаков и его романские герои, именуемые в дальнейшем «оперативной группой Воланда», проходили по четвертому отделению Четвертого (Секретно-политического) отдела Главного управления государственной безопасности Народного комиссариата внутренних дел СССР, а на служебном жаргоне: «4 отд. СПО ГУГБ НКВД СССР».

## Часть I. Комиссар с копытом

*Тебе в ближайшем будущем придется увидеть много гадостей. Посмотришь, как убивают людей, как вешают, как расстреливают. Все это не ново, не важно и даже не очень интересно. Но вот что я тебе советую: никогда не становись убежденным человеком, не делай выводов... И помни, самое большое счастье на земле – это думать, что ты хоть что-нибудь понял из окружающей тебя жизни.*  
*Г. Газданов*

### Глава 1

«...выжить?!

Как?!

Только выстрел мог спасти меня.

Один выстрел!..

Мужества не хватило. Зато в рассказе я семь раз отважно пулянул в двуногую мразь, называвшую себя человеком – точнее, полковником.

Я описал в точности, как было, за исключением того, что в полковника стреляла несчастная женщина, искавшая мужа и посмевавшая спросить у мрази, за что его солдаты запороли ее «людыню» до смерти.

«...год 1919-й от Рождества Христова и второй от начала революции.

Зима, январь.

Обмерший от холода и страха Киев. В городе орудует Петлюра.

Сечевики привезли меня в штаб первого конного полка и буквально впихнули в комнату.

– Пан полковник, – негромко доложил один из них, – ликаря доставили.

Дверь, обитая гобеленом с пастушками, неслышно распахнулась, и в комнату вбежал человек.

Он был малого роста, в великолепной шинели и сапогах со шпорами. Шинель туго перетянута кавказским пояском с серебряными бляшками, на бедре в блеске электричества горела огоньками кавказская же шашка. На голове барашковая шапочка с малиновым верхом, перекрещенным золотистым галуном.

– Жид? – вдруг сухо и хрипло выкрикнул он.

– Не-е, не жид, – ответил доставивший меня кавалерист.

Тогда человек подскочил ко мне и заглянул в глаза.

– Вы не жид, – заговорил он с сильным украинским акцентом на неправильной смеси русских и украинских слов, – но вы не лучше жида. И як бой кончится, я отдам вас под военный суд. Будете расстреляны за саботаж. От него не отходить! – приказал он кавалеристу. – И дать ликарю коня. Сейчас выступаем».

«...Помню, большевики мерно, в растяжку долбили по окраинам города из артиллерийских орудий, и этот гул, словно тиканье исполинских, а может, вселенских часов, до сих пор преследует меня.

Заполночь полк добрался до Слободки. Здесь сечевики должны были охранять мост через Днепр.

Меня поместили в белую оштукатуренную комнату. На деревянном столе стоял фонарь, лежала краюха хлеба и развороченная медицинская сумка. В черной железной печушке плясал багровый огонь, так что вскоре я согрелся.

Канонада к тому времени стихла и, если большевики отступили, обещанная расправа, называемая судом, становилась суровой реальностью, тем более что снизу, из подвала, то и дело доносились крики, а то вдруг визг или вой. Наверное, там кого-то избивали.

Ко мне входили кавалеристы, и я их лечил. Большею частью это были обмороженные. Они снимали сапоги, разматывали портянки, корчились у огня. В комнате стоял кислый запах пота, махорки, йода.

Изредка я оставался один. Тогда приоткрывал дверь, и в прогале видел лестницу, освещенную оплившей стеариновой свечой, лица, винтовки. Дом был набит людьми, бежать было трудно.

Внизу кто-то жутко завыл.

– За что вы их? – спросил я одного из петлюровцев, который, дрожа, протягивал руки к огню. Его босая нога стояла на табурете, и я белой мазью покрывал изъеденную язву у посиневшего большого пальца.

Он ответил:

– Организация попалась. Коммунисты и жида. Полковник допрашивает.

Потом, помнится, я задремал сидя за столом. Разбудил меня толчок в плечо.

– Пан полковник требует.

Я поднялся, под насупленным взором конвоира размотал башлык и пошел вслед за кавалеристом. Мы спустились по лестнице в нижний этаж, и я вошел в белую комнату. Тут, в свете фонаря, я увидел Лещенко.

Он был обнажен до пояса и ежился на табурете, прижимая к груди окровавленную марлю. Возле него стоял растерянный хлопец и топтался, похлопывая шпорами.

– Сволочь, – процедил полковник, потом обратился ко мне. – Ну, пан ликарь, перевязывайте. Хлопец, выйди, – приказал он.

Тот, громыхая, протискался в дверь. В этот момент рама в окне дрогнула. Полковник покосился на черное окно, я тоже. «Стреляют», – подумал я, вздохнул судорожно, спросил:

– Чем это?

– Перочинным ножом, – ответил полковник хмуро.

– Кто?

– Не ваше дело, – отозвался он с холодным, злобным презрением и добавил: – Ой, пан ликарь, нехорошо вам будет.

Меня вдруг осенило: «Кто-то не выдержал истязаний, бросился на него и ранил. Как иначе?..»

– Снимите марлю, – сказал я, наклоняясь к его груди, поросшей черным волосом. Он не успел отнять кровавый комочек, как за дверью послышался топот, возня, грубый голос закричал:

– Стой, стой, черт, куда...

Дверь распахнулась, и в комнату ворвалась растрепанная женщина. Лицо ее было искажено, словно ей было весело. Лишь после, много времени спустя, я сообразил, что крайнее исступление может выражаться в очень странных формах. Серая рука хотела поймать женщину за платок, но сорвалась.

– Уйди, хлопец, уйди, – приказал полковник, и рука исчезла.

Женщина остановила взор на обнаженном полковнике и сказала сухим бесслезным голосом:

– За что мужа расстреляли?

– За що треба, за то и расстреляли, – отозвался полковник и страдальчески сморщился. Комочек все больше алел под его пальцами.

Она усмехнулась так, что я не смог отвести взгляд. Я никогда не видел таких глаз. Она повернулась ко мне и спросила:

– Вы доктор?..

Я не удержался, судорожно кивнул и молча ткнул пальцем в рукав, в красный крест.

Женщина покачала головой. Глаза ее расширились.

– Ай-яй-яй! Какой же вы подлец, доктор... Вы в университете обучались и с этой рванью... На их стороне и перевязочки делаете?! Он человека по лицу лупит и лупит. Пока с ума не свел... А вы ему перевязочку делаете?..

У меня помутилось перед глазами, даже до тошноты, и я почувствовал, что как раз сейчас и начались самые страшные и удивительные события в моей злосчастной докторской жизни.

– Это вы мне говорите? – спросил я и почувствовал, что дрожу. – Мне?.. Да вы знаете...

Но она не пожелала слушать, повернулась к полковнику и плюнула ему в лицо.

Тот вскочил, крикнул.

– Хлопци!

Когда ворвались, он сказал гневно.

– Дайте ей двадцать пять шомполов. А если кто хочет, можно и без шомполов».

Что случилось дальше, я долго пытался забыть. Прошло семь... нет, восемь лет, а я до сих пор помню подробности той чудовищно февральской ночи.

И рад бы забыть!

Я не выстрелил. Все остальное случилось в точности, как и тогда на окраине Киева, в штабе пьяных, одуревших от крови и страха сечевиков.

...Сижу за столом, пытаюсь разделаться с прошлым. Рука подрагивает, я пишу ложь, и эта ложь называется литературой.

«...Женщина вырвалась от насильников и выстрелила в пана Лещенко. Как у нее оказался браунинг, кто из хлопцев не доглядел, не знаю.

Помню только, как она вбежала в комнату, простоволосая, в разорванной блузке и выстрелила.

Всего один раз.

Угодила точно в переносицу.

Вбежали хлопцы, скрутили ей руки, вырвали оружие, утащили. Мне крикнули – помощь окажи, а то кишки выпустим.

На какое-то мгновение я остался один. Лещенко уже ничем не поможешь, да и заставить себя помогать этой мрази было безнадежно, даже ценой кишок.

Бросился к окну, выбил ногой раму, выскочил во двор. Судьба меня побаловала – между штабелями дрова обнаружился проход, и я выбежал в черную улицу. Меня бы обязательно схватили, но я случайно наткнулся на провал между двумя вплотную подходившими друг к другу стенами и там, в выбоине, как в пещере, на битом кирпиче просидел несколько часов. Конные несколько раз проскакали мимо меня, я это слышал. Улочка вела к Днепру, и они долго рыскали по реке, искали меня.

Наконец кто-то из преследователей спросил:

– Не маэ?

Другой ответил:

– Сгинул, гнида! – затем чисто по-русски: – Ну, попадись он мне в руки».

...затем писал быстро, без помарок. Все текло в привычном литературном русле.

«...В трещину я видел одну звезду, почему-то думаю, это был Марс. Мне показалось, что ее разорвало. Это первый снаряд лопнул, закрыл звезду. И потом всю ночь грохотало по Слободке и било, а я сидел в кирпичной норе – молчал и думал об ученой степени и о том, умерла ли эта женщина под шомполами.

Или как?

Думал о себе.

Размышлял.

Хотелось выразиться красиво – в ту ночь я усомнился в Боге. Это немало, очень даже много для дипломированного «ликера», которого угораздило появиться на свет в благословенном городе Киеве в семье профессора богословия, жить на переломе истории, посвятить себя самой гуманной профессии на свете – врачеванию; иметь склонность к словесному творчеству и, наконец, в решительный момент дрогнуть.

Затем после паузы «о себе» вычеркнул. Продолжил просто:

«...А когда стихло и чуть-чуть рассвело, я вышел из выбоины, не вытерпев пытки, – я отморозил ноги.

Слободка умерла, все молчало, звезды побледнели. И когда пришел к мосту, не было как будто никогда ни полковника Лещенко, ни конного полка... Только навоз на истоптанной дороге...

И я один прошел весь путь к Киеву и вошел в него, когда совсем рассвело. Меня встретил странный патруль, в каких-то шапках с наушниками.

Меня остановили, спросили документы.

Я сказал:

– Я лекарь Яшвин. Бегу от петлюровцев. Где они?

Мне сказали:

– Ночью ушли. В Киеве ревком.

И вижу, один из патрульных всматривается мне в глаза, потом как-то жалостливо махнул рукой и говорит:

– Идите, доктор, домой.

И я пошел».

«...рассказ я отнес в «Медицинский вестник», где в конце 1926 года его напечатали. Название – «Я убил».

А до того...»

## Глава 2

До утра я разбирался с документами, доставшимися мне от Рылеева. Не удержался и заглянул в его конспекты, которые нельзя было называть мемуарами, но можно окрестить воспоминаниями. Или, что еще хлеще, романом...

Такая конспирация кого угодно могла свести с ума!..

«...по словам моего непосредственного начальника Виктора Николаевича Ильина, пристальный интерес верховной власти к такой неоднозначной фигуре, как М. А. Булгаков, отчетливо выявился в 1926 году после первого прогона «Дней Турбиных».

Первоначально дело Булгакова по личному поручению Сталина было доверено следователю ОГПУ Гендину Семену Григорьевичу...<sup>3</sup> По отзывам заслуживающих доверие коллег, это был вполне разумный и интеллигентный человек. В 1938 году он был репрессирован и наблюдение за Булгаковым было передано начальнику третьего отдела СПУ НКВД, комиссару госбезопасности по работе с интеллигенцией В. Н. Ильину».

«...Это было интереснейшее время, дружище! Разгул НЭПа, борьба с объединенной оппозицией, томительная задержка с революцией в Германии, шашни империалистов в Китае, злопыхательство английской буржуазии, посмевавшей ставить ультиматумы молодой республике Советов – все это создавало предельное давление на Кремль. Казалось бы, у Петробыча лишней минутки не было, а тут Булгаков...»

«...как вы считаете, товарищ Гендин, может ли автор «Дней Турбиных» послужить делу пролетариата? Причем послужить не за страх, а за совесть?

Петробыч раскурил трубку и внимательно глянул на старшего следователя ОГПУ.

Затем уточнил позицию:

– Не будем спрашивать самого Булгакова – он может сморозить глупость. Политбюро хотело бы получить объективный ответ, может ли партия рассчитывать на него? Имейте в виду, товарищ Гендин, на Пильняка, Замятина и Пришвина партия рассчитывать не может. На Демьяна Бедного не может. На Бабеля и Ясенского не может. Даже на хулиганов из РАППа мы не можем рассчитывать. Платонов умничает. Фадеев, Шолохов, Леонов еще молоды, Серафимович стар. Олеша пьет. Насчет Булгакова у Политбюро нет однозначного ответа. Подумайте над этим вопросом, товарищ Гендин...»

«...это было задание партии. Его нельзя было не выполнить. В любом случае начало операции «Булгаков» следует отнести именно к этому инструктирующему разговору, после которого Семен Григорьевич, закатав рукава, взялся за дело».

Далее, ради объективности, а может, для весомости, к странице был подколот отрывок из письма А. М. Горького, написанного Петробычу в 1931 году и посвященного нешуточному скандалу, разразившемуся в верхушке партии по поводу «Дней Турбиных».

«...хотел кончить длинное мое послание, но вот мне прислали фельетон Ходасевича<sup>4</sup> о пьесе Булгакова. Ходасевича я хорошо знаю: это – типичный декадент, человек физически и

---

<sup>3</sup> Гендин Семен Григорьевич (1902–1939) – в двадцатые годы заместитель начальника 6-го отделения КРО ОГПУ СССР, впоследствии старший майор ГБ. Кстати, именно С. Г. Гендин закрыл дело в отношении Есенина по обвинению в антисемитизме в связи с его смертью, а в отношении Клычкова и Орешина – за давностью.

<sup>4</sup> Ходасевич Владислав Фелицианович (1886–1939) – поэт, критик. Эмигрировал из Советской России в 1922 г.

духовно дряхлый, но преисполненный мизантропией и злобой на всех людей. Он не может – не способен – быть другом или врагом кому или чему-нибудь, он «объективно» враждебен всему существующему в мире, от блохи до слона, человек для него – дурак, потому что живет и что-то делает. Но всюду, где можно сказать неприятное людям, он умеет делать это умно. И – на мой взгляд – он прав, когда говорит, что именно советская критика сочинила из «Братьев Турбиных» антисоветскую пьесу. Булгаков мне «не брат и не сват», защищать его я не имею ни малейшей охоты. Но – он талантливый литератор, а таких у нас – не очень много. Нет смысла делать из них «мучеников за идею». Врага надобно или уничтожить, или перевоспитать. В данном случае я за то, чтоб перевоспитать. Это – легко. Жалобы Булгакова сводятся к простому мотиву: жить нечем. Он зарабатывает, кажется, 200 р. в месяц. Он очень просил меня устроить ему свидание с Вами. Мне кажется, это было бы полезно не только для него лично, а вообще для литераторов-«союзников». Их необходимо вовлечь в общественную работу более глубоко. Это – моя забота, но одного меня мало для успеха, и у товарищей все еще нет твердого определенного отношения к литературе и, мне кажется, нет достаточно целой оценки ее культурного и политического значения. Ну – достаточно!

А. Пешков».

Внизу резолюция-приписка: «Если «союзник», то чей?..»

Этот вопрос окончательно вогнал меня в расплавленное состояние. Тут без всякой аналитики можно голову сломать.

К этим нескольким листочкам подклеились записи, сделанные рукой Понырева. Ага, вот и помета:

*Из записок профессора И. Н. Понырева:*

«...знавали ли вы Астахова, уважаемый Ванюша?

Клянусь бабушкой, у вас не было такого счастья.

Будьте покойны, это был громила! Как в прямом, так и в переносном смысле. Вообразите довольно упитанного юношу, на плечах у которого топорщится бурка, накинутая на скрипучую кожаную куртку, на груди алый бант, а на боку огромный револьвер. Личико юноши обрамлено черной бородой.

Мы познакомились во Владикавказе на диспуте, посвященном Пушкину, в 1920 году, спустя несколько месяцев после того, как красные вошли в город. Весь март и апрель я находился в горячечном состоянии – меня свалил тиф, и по этой причине я никак не мог в составе непобедимой Добровольческой армии, куда меня в качестве врача осенью девятнадцатого призвали в Киеве, – доблестно драпануть из Владикавказа.

Только в мае я пришел в себя и, в первый раз выбравшись с женой из дому, услышал за спиной – «вот этот печатался в белогвардейских газетах...»

Вечером Тася<sup>5</sup> окончательно добила меня. Прибежала в слезах. Только что, мол, слышала, как на базаре болтали, будто во Владикавказ приехала какая-то комиссия из Центра. Будут разыскивать скрывающихся белогвардейцев.

Она умоляла меня – «уедем отсюда...»

Куда я мог уехать, опираясь на палку?!»

«...День и ночь, сутки прочь. Вы не поверите, Ванюша, этот жуткий слух через несколько дней схлынул. Как оказалось, ЧК было не до недобитых городских белогвардей-

---

<sup>5</sup> Первая жена М. А. Булгакова – Татьяна Николаевна Булгакова-Лаппа (1891–1982).

цев – комиссары были по горло заняты отловом вооруженных бандитов, засевших в горах и нападавших на отдельных красноармейцев и обозы, собиравшие дань по продразверстке.

Минула неделя, другая, и жизнь постепенно начала налаживаться. В конце мая мне крупно повезло – мой знакомый Слезкин пристроил меня в лито, то есть литературный отдел при местном ревкоме.

Юра был полон энтузиазма – подотдел искусств откроем!

– Это... что такое? – спросил я.

– Что?! – не понял тот.

– Да вот... подудел?

– Ах, нет. Под-отдел!

– Но почему «под?

Ответа не получил. Так я начал привыкать к таинственной советской символике. И знаете, уважаемый Ванюша, несмотря на «подудел», пошло-поехало! Заодно я взялся сочинять пьесы.

Сочинял о чем угодно – о парижских коммунарах, о борьбе с зеленым змеем, о людях, кого знал и любил и вскоре назвал Турбинами. Написал «юмореск» и комедию-буфф, но самый оглушительный успех принесла мне р-р-р-революционная пьеса о прогрессивной чеченской бедноте, побеждающей реакционных сыновей муллы.

К сожалению, лито денег не платил, театр тоже. В качестве гонорара нам выдавали постное масло и огурцы... Жили мы с женой в основном на ее золотую цепь – отрубали по куску и продавали. Она была витая, как веревка, чуть уже мизинца толщиной. Длинная – Тася два раза окручивала ее вокруг шеи, и она еще свисала. Помнится, еще камешка была...

Вот на эту цепь мы и жили.

Жена покупала печенку на базаре, где-то брала мясорубку и делала паштет. Иногда мы ходили в подвальчик – подальше от театра, ели шашлыки, пили араку.

В местной газете меня уже начали называть «писателем», правда, в кавычках. И ровно через месяц лукавый попутал меня посетить литературный диспут».

«...обливаясь потом, в духоте, я сидел в первом ряду и слушал, как юноша в бурке и с револьвером на поясе, именующий себя Астаховым, рвал на Пушкине белые штаны.

Довольно пели вам луну и чайку!  
Я вам спою чрезвычайку!

Докладчик стер Пушкина с лица земли. «Пушкин, – заявил этот ревнитель р-р-революционного искусства, – ярый продукт буржуазной культуры, ярый поклонник царского режима, крепостник со зверским оскалом эксплуататора».

Я поправил с места – возможно, со «звериным оскалом»?.. – на что оратор заявил:

– А-а, вы требуете дискуссий? Будут вам дискуссии! Что ж, прошу! – с вызовом закончил Астахов и, положив руку на кобуру, в которой покоился револьвер, предложил мне сменить его на сцене.

Делать было нечего, не отступать же...

Я попытался вкратце объяснить, что Пушкин ненавидел тиранию и любил русский народ (см. письма к Жуковскому: «Я презираю свое отечество, но не люблю, когда говорят об этом иностранцы»). Пушкин вдохновил декабристов на революционное выступление. Он не был практиком – что да, то да! – поэтому отсутствовал на баррикадах. Пушкин являлся теоретиком революции. Эксплуататоры всех мастей изо всех сил пытались затушевать революционную суть творчества Пушкина, его привязанность к народу.

К тому же творчество Пушкина божественно, лучезарно...

Пушкин – полубог, евангелист, интернационалист. Он перевоплощался во всех богов Олимпа: был и Вакх и Бахус.

В заключение я заявил, что на всем творчестве Пушкина лежит печать глубокой человечности, гуманности, отвращение к убийству, к насилию и лишению жизни человека человеком. Его кредо было «не убий»...

Здесь я поймал себя на мысли, что не таким уж кристально-чистым гуманистом являлся Пушкин, если ввязался в дуэль, но *factum est factum*.

Я подождал возражений. Их не было у нас.

Тогда не без пафоса закончил.

– Уважаемый критик ошибается и в классовом понимании эпохи. Пушкин жил в первой половине XIX века, когда в России преобладали феодальные отношения, так что скорее поэт является прогрессивным и революционным продуктом феодальной культуры, чем буржуазной. Но мы, уважаемый товарищ Астахов, затеяли эту дискуссию не для того, чтобы заниматься социальной историей, а для того, чтобы выяснить вопрос – найдется ли место Александру Сергеевичу в новом мире, заря которого так ярко зажглась на горизонте. Отвергая значение Пушкина, вы тем самым отвергаете весь огромный опыт российской словесности, а, как известно, партия большевиков провозгласила, что она не может построить светлое будущее без осмысления всего опыта, накопленного человечеством. (Пишу, как запомнил. – *И. Н. Поньрев.*)»

Астахов подозрительно уставился на меня.

– Вы хотите сказать, что в первой половине прошлого века в России еще господствовали феодальные отношения и не было никаких буржуазных? Странная, если не сказать больше, позиция».

«...Пушкина я отстоял, но через неделю меня и моего приятеля Слезкина, крепко приложили в местной газете за «классово чуждые мысли».

Статья называлась «Покушение с негодными средствами».

«...Будьте благонадежны, Иван Николаевич, кое-что из этого пасквиля я запомнил на всю жизнь.

Заучил как цитаты из вынесенного мне приговора, зарубил на носу как последнее предупреждение, как лихорадочный блеск штыков, угрожавших мне смертью, если только я не успею покинуть вверенную штыкам территорию.

«Русская буржуазия, не сумев убедить рабочих языком оружия, *вынуждена попытаться* завоевать их оружием языка. Объективно такой попыткой использовать «легальные возможности» являются выступления гг. Булгакова и Беме<sup>6</sup> на диспуте о Пушкине.

Казалось бы, что общего с революцией у покойного поэта и у этих господ? Однако именно они и именно Пушкина как революционера и взялись защищать. Эти выступления, не прибавляя ничего к лаврам поэта, открывают только классовую природу защитников его революционности... Они вскрывают контрреволюционность этих защитников «революционности» Пушкина...»<sup>7</sup>.

И еще, «я – «волк в овечьей шкуре», я – «господин». Я – «буржуазный подголосок». Я – «новобуржуазное отродье, брызжущее отравленной, но почему-то бессильной слюной на рабочий класс и его коммунистические идеалы».

Я – уже не завлито. И не завтео.

Я – безродный пес на чердаке».

---

<sup>6</sup> Местный адвокат во Владикавказе

<sup>7</sup> Коммунист, 10 июля 1920 г.

«...Летом 1920 года Врангель высадился в Северной Таврии. Спустя месяц белые продвинулись до Днепра и во Владикавказе было объявлено военное положение. Начались аресты».

«...Сижу скорчившись. Ночью позвонят – вздрагиваю.  
Дальше так продолжаться не могло. Ночью собрал чемоданчик и майским утром через Баку – так надо было для запутывания следов – отправился в Тифлис.  
Из Тифлиса в Батум, там ко мне присоединилась Тася. Или она нашла меня раньше, еще в Тифлисе?..  
Не помню».

## Глава 3

*Из записок профессора И. Н. Поньрева:*

«...все началось, уважаемый Ванечка, с Батума и все закончилось «Батумом!»»

«...Прелюбопытнейший случай случился со мной летом 1939 года на вокзале провинциального Серпухова, на котором любой уважающий себя поезд стоит не более пяти минут.

Именно в Серпухове меня настигло известие о запрете пьесы – даже не запрете, а о невозможности увидеть ее на сцене!

Это был смертельный удар!

Это был нокк-аут!»

«...начиналось просто на загляденье. Весной 1938 года обо мне, униженном, раскритикованном и, казалось, вычеркнутом из «нарождавшейся там и сям славной социалистической жизни», вдруг вспомнили.

Причем сразу и все...

С чего бы это?!

В апреле ко мне неожиданно явился Николай Радлов<sup>8</sup>. Иллюстрировал книжку М. А. Булгакова «Рассказы» (Б-ка журн. «Смехач». Л., 1926). У Булгакова бывал и в 20-е гг.). Начал за здоровье и угостил такой сентенцией, что ни вздохнуть, ни выдохнуть – «ты, Миша, конченный писатель... бывший писатель... всё у тебя в прошлом...»

Ну и так далее.

И вдруг предложение за упокой:

– Почему бы тебе не писать рассказы для «Крокодила», там обновленная редакция?

Хочешь, я поговорю с Кольцовым?<sup>9</sup>

Это что-то новое. Какая-то новая манера воздействия на меня.

Я потребовал, чтобы гость никогда не упоминал моего имени при Кольцове.

Хватит!

Не тут-то было.

3 мая явился Ангарский<sup>10</sup> и с ходу предложил:

– Не согласитесь ли, уважаемый Михаил Афанасьевич, написать авантюрный советский роман? Массовый тираж. Переведу на все языки. Денег – тьма, валюта. Хотите, сейчас чек выпишу – авансом?

Я отказался, но, признаюсь, опешил.

---

<sup>8</sup> Радлов Николай Эрнестович (1889–1942) – художник. Активно печатался в юмористических журналах («Бегемот», «Смехач», «Крокодил» и др.).

<sup>9</sup> Кольцов Михаил Ефимович (1898–1942) – русский советский писатель, журналист, член-корреспондент АН СССР (1938). Член КПСС с 1918 г. С 1922-го постоянный фельетонист и очеркист «Правды». Был основателем и редактором журналов «Огонёк», «Чудак», «Крокодил» и др. Вместе с М. Горьким подготовил известный сборник «День мира» (1937).

<sup>10</sup> Ангарский (Клестов) Н. С. (1873–1941) – большевик с подпольным стажем, общественный деятель, литературный критик, организатор издательского дела. В 1924–1932 гг. – руководитель издательства «Недра». При его участии и одобрении были опубликованы повести «Дьяволиада» (в 1924 г.) и «Роковые яйца» (в 1925-м). Попытка опубликовать «Собачьё сердце» не увенчалась успехом.

Отговорился тем, что никогда не писал и не собирался писать стряпню навроде «Месс-Менд»<sup>11</sup>.

К моему удивлению, эту дерзость Ангарский снес вполне спокойно. Я всегда уважал его за непоколебимое спокойствие и ясность литературного вкуса. С ним можно было соглашаться или не соглашаться, но он никогда не суетился, тем более не лебезил. По поводу Александра Грина, моего свихнувшегося на романтических фантазиях коллеги, он выразился в том смысле, что Грин не писатель. В статье, опубликованной в журнале «На посту», Николай Семенович более развернуто объяснил свою позицию: «Мы будем бороться с теми стародумами, которые в благоговейной позе, без достаточной критической оценки застыли перед гранитным монументом старой буржуазно-дворянской литературы».

Бог с ним, с Грином!..

Вернемся к баранам. В устах Ангарского предложение о написании авантюрного романа звучало, конечно, значительно весомей, чем предложение Радлова сотрудничать с «Крокодилом», но жару, как ни странно, подбавил мой давний знакомый, Валька Катаев, успевший остепениться и лихо ввертеться в нынешнюю «социалистическую» литературу.

Мы встретились случайно и отправились пить газированную воду. По пути бывший товарищ по «Гудку» ни с того ни с сего предложил мне написать небольшой рассказик.

Он так и сказал – «рассказик» – и многозначительно добавил:

– ...и вообще ссора затянулась! Пора возвращаться в «писательское лоно» с новой вещью.

Окончательно меня добила в Писательском клубе! Некий знакомый литератор подошел к нашему столику в ресторане не то чтобы танцующей, но вполне вертлявой походкой, и куртуазно поинтересовался – зачем, вы, Михаил Афанасьевич, нас забыли? Зачем пренебрегаете литературой?..

Я осторожно поинтересовался – кого это «от нас», на что получил виртуозный по ясности ответ:

– Вот, вот, обо всем этом и надо поговорить. Вчетвером – вы, Фадеев, Катаев и я. Сядем и все обсудим. Надо, чтобы вы вернулись к драматургии, а не прятались от общественности в Большом театре.

Я промолчал, так как в Большом я прятался – или скорее окопался – после того, как все мои пьесы сняли с репертуара и мне не на что стало жить. Пристроился сценаристом-либретистом.

Да и то по указанию с самого верха.

Этот разговор уже трудно было счесть за дружеский совет или намек. Это был целенаправленная атака, удачно завершить которую удалось моим «друзьям» из Московского художественного театра.

Они явились ко мне домой в сентябре 1938 года.

Пришли в одиннадцатом часу ночи и просидели до пяти утра.

Вначале им было убийственно трудно, ведь они явились с просьбой – «Михаил Афанасьич, уважаемый, горячо любимый, напишите для нас пьесу...».

Я едва сохранил присутствие духа. Я попытался доходчиво объяснить им, что они очень рискуют со своим предложением. Это смертельно опасная затея. В любом случае, *мне* это даром не пройдет. Я знаю все наперед – меня затравят окончательно. Они набросятся всей сворой. Критики, драматурги, журналисты. Доброжелатели. Я даже знаю, кто возгла-

---

<sup>11</sup> Роман «Месс-Менд, или Янки в Петрограде» (1924–1925) известной в ту пору Мариэтты Шагинян, повествующий о борьбе мирового пролетариата с законченными выродками империализма. Был экранизирован.

вит кампанию. Это очень опасная игра. Потом не выдержал и в сердцах выложил все, что думаю о МХАТе. Я припомнил все их хамства, все, что они сделали со мной. Я напомнил им о пренебрежении, о загубленных на корню постановках.

Да что там постановках. Я напомнил им о зарубленных спектаклях.

Потом прибавил, что все это в прошлом. Я забыл и простил. Но писать не буду.

Все это продолжалось не меньше двух часов, и, когда мы около часу ночи сели ужинать, Марков был черен и мрачен.

За ужином разговор перешел на общемхатовские темы. Все принялись дружно ругать Егорова, и настроение у всех поднялось.

Потом, сейчас не помню, кто – кажется, тот же Марков – вновь завернул к пьесе.

...МХАТ гибнет. Пьес нет. Театр живет старым репертуаром. Он умирает. Единственно, что может его спасти и возродить, это – современная замечательная пьеса. Знаете, как он выразился – им нужен «Бег» на современную тему, то есть в смысле значительности.

Клянусь дедушкой, ни больше, ни меньше!..

Затем Марков уточнил: «Бег – это самая любимая в театре пьеса». И, конечно, новую пьесу могу дать только я.

По-видимому, говорил искренне, а в конце как бы невзначай поинтересовался:

– Ты ведь хотел написать пьесу о Сталине?

Докопались-таки!..

Я в тот момент, Ванюша, готов был отрезать себе язык, однако виду не подал и равнодушно пожал плечами. Потом возразил – где материалы, документы? Как без них садиться за работу.

Они сразу, наперебой начали уверять, будто это совсем не трудно. Посыпались предложения – мол, Владимир Иванович (Немирович-Данченко) напишет письмо Иосифу Виссарионовичу с просьбой предоставить все необходимые материалы.

Я, признаюсь, дрогнул.

– Мне многое уже мерещится из этой пьесы. Хотя это очень трудно... Что касается Владимира Ивановича, никаких писем. Пока на столе нет пьесы, говорить и просить не о чем.

Они ушли в пять утра».

«...беда в том, уважаемый Ванюша, что, клянусь и бабушкой и дедушкой, замысел написать такую пьесу родился у меня еще в тридцатом году...

Что я говорю!!

Впервые мысль о том, чтобы создать что-нибудь сценичное о Сталине, осенила меня в мае 1925 года, когда я взял в руки праздничный номер «Огонька» – и остолбенел! Вместо привычного изображения Троцкого<sup>12</sup> на обложке в полный рост был изображен человек, с которым меня когда-то столкнула судьба. Хочешь верь – хочешь не верь, но мы встречались, Ванюша...

Два раза.

Инкогнито. Мы даже не познакомились, не назвались...

А тут портрет!!»

«...Я сначала глазам своим не поверил, а когда вполне осознал, что этот большевик с трубкой именно тот кавказец, который в 1920 году посоветовал мне «не делай глупостей,

---

<sup>12</sup> В эти дни как раз проходила XIV партийная конференция, осудившая «демона революции» и принявшая положение о построении социализма в одной стране. После публикации портрета Сталина всем стало ясно, кто является хозяином страны.

забыть об эмиграции, а потрудиться здесь, в родной стране», не кто иной, как Сталин, – меня буквально замкнуло.

Неплохо бы написать о нем пьесу! Пусть это будет пьеса о молодом революционере, об одном из тех, из которых после революции возникла новая интеллигенция. Я бы назвал ее железной. Она может и мебель таскать, и дрова колоть, и рентгеном заниматься. Ей дано сутки напролет учиться, учиться и учиться а также не дрогнувшей рукой взводить курок револьвера.

Эта мысль показалась мне чрезвычайно аппетитной. Я почему-то сразу уверился, что Сталин одобрит замысел, ведь меня всю жизнь не покидало чувство, что наш разговор еще не закончен. Я мечтал о новой встрече. Написав пьесу, я мог бы с гордостью заявить, что выполнил его просьбу, которую он когда-то высказал в Батуме. Так пусть он выполнит свою, и мне позволят спокойно жить и трудиться в Советской России.

Мне нестерпимо хотелось продолжить диалог со Сталиным. Я возлагал огромные надежды на этот будущий разговор, особенно после того, как вождь однажды поговорил со мной по телефону и предложил помощь».

«...Потом случился ошеломляющий успех «Дней Турбиных», несколько лет славы, и я почему-то возомнил, что теперь мне все по плечу, и незачем художнику обращаться с просьбами к властям.

Сами придут и выложат на блюдечке с золотой каемочкой...»

«...меня без конца донимали написанием этой пьесы.

Все советовали – пиши!

Даже Коля Эрдман, явившись в Москву из Калинина, где ему было назначено поселение, не поспешил на «протоиерейский» совет – Миша, да напиши ты им эту пьесу!

Не унывай!»

«...Я не смог совладать с соблазном, Ванюша!

Бог мне судья...

Даже весной тридцать восьмого я все еще питал надежды, и вместо того, чтобы заняться любимейшим делом на свете – обработкой и редактированием рукописи, лежавшей у меня в столе, в которой я, наученный горьким опытом, подводил итог диалогу с властью, – я клюнул на приманку. Мне вдруг захотелось ответить Сталину пьесой. Уверяю, пряная острота замысла была несомненна. Какой замечательный драматургический материал: пылкий юноша, революционно настроенный семинарист, и ректор семинарии, пожилой монах, умный, хитрый, с иезуитским складом ума старик. Ведь мой отец был доктором богословия, и таких «святых отцов» я знал не понаслышке. Среди них попадаются выдающиеся умницы».

«...помнится, Толстой где-то обронил, что человек глуп. Причем обронил дважды – «глуп человек. Глуп...»

Толстой был прав, Ванюша, – человек глуп, и с этим ничего не поделаешь.

Я предчувствовал, я знал – судьба готовит мне очередной подвох, но, клянусь бабушкой, у меня не было выбора. В этом замысле сошлось то, что справедливо было названо «былое и думы»! Я не мог отказаться от последней попытки напомнить о себе человеку, который охранял и стерег меня все эти годы. Кому я обязан всем – жизнью и смертью.

Ради того, чтобы увидеть свои пьесы на сцене... Ради того, чтобы увидеть «Мастера» напечатанным – хотя бы в отрывках!!! – я был готов на все. Это давало мне силы. Иначе бы я давным-давно махнул рукой...

Так поступил Коля Эрдман».

## Глава 4

«...Итак, «Батум»!

Главным героем пьесы должен был стать молодой Сталин.

Год 1902-й, начало его подпольной работы. Стачка на каком-то задрипанном заводике, первый арест, унижения и побои, ссылка, побег из ссылки и возвращение на Кавказ, где он опять принялся за старое».

«...Извольте-с, я закончил пьесу за полгода. В июле тридцать девятого читал ее в Комитете по делам искусств, и почти в те же дни во МХАТе.

В театре пьесу встретили на «ура»! С одобрения вышестоящих органов, где шустрые мхатовцы успели провентилировать все вопросы, касавшиеся постановки «Батума», была организована ознакомительная поездка на Кавказ – в места, где начиналась революционная деятельность главного героя.

Наша творческая «бригада» – я с Леной, в другом купе режиссер Виленкин с Лесли, своей помощницей, – отправилась в Батум, роковой для меня город.

В Москве стояла страшная жара. Еще состав не успел тронуться, а все переоделись в пижамы. В нашем – «бригадирском» – купе Елена Сергеевна устроила «отъездной» банкет.

Чего только не было на маленьком столике! Пирожки, ананасы в коньяке, горка апельсина из Торгсина...

Было весело. Пренебрегая суевериями, выпили за успех.

Я уже верил и не верил в возможность счастья, однако по-прежнему сидел возле окна и молча разглядывал мелькавшие за окном пейзажи.

Позади остались пригороды Москвы. Скоро поезд промчался мимо Подольска, где в былые дни в вокзальном ресторане отметился каждый уважающий себя русский писатель – начиная со Льва Толстого и Чехова и кончая Горьким в компании с Буниным, Андреевым и Куприным, устраивавшими здесь недельные загулы.

Наверное, было весело...

Через полчаса за окном промелькнула речка Лопасня – чеховские места, – справа, за кромкой леса, геодезическая вышка.

...Платформа «Луч».

Оригинальное название. Интересно, что можно осветить с железнодорожной платформы? Не иначе путь к коммунизму... Низкорослые пригороды Серпухова и через несколько минут на удивление громадный и солидный вокзал...

Еще несколько минут – и можно отвлечься до Тулы...

Здесь меня и настигла судьба.

Какая-то женщина вбежала в вагон и крикнула в коридоре:

– Булгахтеру телеграмма!

Пассажиры засмеялись, а у меня, по уверениям Лены, лицо сделалось серым.

Клянусь дедушкой, это было как удар грома.

Это был выбор судьбы!

Это было озарение, – возможно, единственный дар, которым человека награждают при рождении. Другое дело, что в такой миг можно увидеть?

– Это не булгахтеру, – с трудом вымолвил я. – Это Булгакову!

Женщина вошла в наше купе и торжественно вручила мне телеграмму. В проем заглядывали любопытные лица.

Я прочитал вслух.

– «Надобность поездке отпала возвращайтесь Москву = Калишьян»<sup>13</sup>, – и для убедительности помахал телеграммой.

После минутной растерянности Лена заявила.

– Этого не может быть! Мы едем дальше!! Просто отдохнуть!!! Нас ждет Батум!..

Виленкин оказался более толковым парнем – он сразу смекнул, что никакого «дальше» не будет и торопливо принялся выкидывать свои вещи в вагонное окно. Из вагона он выскочил, когда поезд тронулся».

«...Все было кончено, уважаемый Иван Николаевич. Вот что запомнилось – вытянутые физиономии Виленкина и его спутницы. Они никак не могли поверить, что можно не поверить *такой* телеграмме!..»

«...из Тулы мы вернулись на машине. Я не хотел подвергать опасности любимую женщину».

«...Казнь состоялась. Приговор был приведен в исполнение самым неожиданным способом на свете – по телеграфу! Так случается, уважаемый Ваня. Милость падишаха осуществляется порой не без дьявольского лукавства.

Не без потаенной ухмылки!..»

«...в Москве разгорался скандал.

Мне звонили из МХАТа. Ко мне примчался Сахновский, на тот момент заведующий литчастью театра. Он говорил быстро, напористо, не без сострадания – «этого невозможно было предвидеть...», «...театр по-прежнему относится к моей пьесе как к выдающемуся произведению, воспевающему... (он не уточнил, что воспевающему), «...театр выполнит все обязательства по договору – и денежные, и материальные, позаботится о перемене квартиры (что было сделано).

Но главное – «наверху – он ткнул пальцем в потолок – одобрили решение автора перебросить мост и наладить *отношение к себе*...»

Далее я не слушал. Сахновский даже не заметил, как обвинил меня в пресмыкательстве.

Это был неожиданный, но подспудно ожидаемый итог.

Бог с ним, с Сахновским! Главное – не терять достоинства. Я писал пьесу вовсе не для «перебрасывания мостов». Я хотел напомнить главному герою о нашей встрече в Батуме, о его словах насчет «нужности» литературной работы для грузчиков в батумском порту, которые, как оказалось, вовсе не нуждались в потугах «попутчика», «волка в овечьей шкуре» и «буржуазного подголоска» Булгакова».

\* \* \*

«...измучила бессонница.

Я лежал на спине и мысленно, вглядываясь в потолок, вспоминал Батум.

Я узрел Михайловскую улицу, бамбуковые галереи гостиницы «Франция», куда нам с Тасей доступа не было, бархатную мебель духанов, где подавалось ни с чем не сравнимое «кипиани» в толстых бутылках с красно-золотыми этикетками, которыми я любовался издали. После расставания с Тасей, которую мне пришлось отправить в Киев, я питался тык-

---

<sup>13</sup> В 1939 г. Григорий Михайлович Калишьян исполнял обязанности директора МХАТа.

венными семечками, которые отсыпала мне старая аджарка в чувяках, сидевшая под древней смоковницей.

Это было давным-давно.

Это была сказка, в которую обращается всякое нелепое и невероятное воспоминание, не имеющее права возродиться, тем более застрять в мозгу.

Я пытался избавиться от воспаления в голове, но приключение с пьесой вгоняло меня в умственный жар.

Скоро схлынула горечь. Тогда же пришло ясное осознание, что дни мои сочтены. Это было страшно, но и любопытно, ведь не мог же *он* не вспомнить тот угасающий августовский день, морской берег, покрытый крупной и оттого еще более запоминающейся галькой, мои босые ноги.

Я-то, уважаемый Ванюша, его ноги на всю жизнь запомнил...

Невдалеке рисовался обветшавший причал и возле него потрепанное и грязное донельзя судно под турецким флагом. Я уже почти договорился с капитаном – он готов был взять меня на борт и «по возможности» доставить в Стамбул. Что значит, по возможности, он не уточнил – вероятно, кормить меня на борту этой пропахшей рыбой лохани никто не собирался, так что если я сумею поголодать до турецких берегов, значит, мне повезло.

Я уже было собрался ударить по рукам с этим пиратом из анатолийских греков, но он заявил – дэнги вперед, уважаемый.

Под этим лозунгом я, Ванюша, отправился добывать «дэнги». Это была безнадежная затея. Все, что могли, мы уже продали, на оставшиеся от продажи чемодана миллионы – нашей единственной ценности – я отправил Тасю в Киев к матери.

В Киеве ее откормят, будьте благонадежны. Я еще не встречал человека, которого не смогли бы откормить в Киеве.

В поисках дэнег я отправился бродить по берегу.

Когда устал, прилег. Испытав приступ отчаяния, решил искупаться. Меня манила мысль, может, ныряя, я смогу отыскать сундук с сокровищами.

Мало ли?..

Ну а если не повезет – прощай, белый свет. Больше ты никогда не увидишь незадачливого медика, несостоявшегося литератора, без вины виноватого белогвардейца – не знаю, какое еще определение из груды буржуазного дерьма можно было бы вписать в протокол, в котором будет запечатлен отчет о моей преждевременной кончине.

Не велика потеря...

Удивительно, но в те минуты меня занимал вполне идиотский вопрос – снимать ли ботинки, еще вполне надежные и целые, с толстоватой подошвой – или ухнуть в Черное море прямо в обуви. Глядишь, ботинки быстрее утянут на дно. К тому же с их помощью у меня появится время осмотреться, перевернуть несколько камней – может, под одним из них отыщется жемчужное ожерелье, перстень с алмазом или горсть серебряных рублей.

Если не повезет, намокшие ботинки удержат меня на дне, и мне откроется...

Ты сам знаешь, Иван, что открывается в таких случаях... В тот момент меня очень беспокоила непрезентабельность моего последнего наряда. Если прибавить, что перед небесным судом придется стоять на босу ногу, мне стало совсем не по себе. Сам посуди, друг мой, стыдно предстать перед небесным коллегиумом в таком рванье».

«...Он подошел неслышно, как смерть. Присел рядом. Ему было около тридцати, лицо рябое, видно, в детстве его пометила оспа.

Он, вероятно, тоже пришел окунуться.

Или помешать мне...

Не могу сказать наверняка. Я писатель мистический, однако в тот момент ничего, кроме досады, не почувствовал. Когда же он неожиданно обратился ко мне – *решил испугаться, товарищ?* – я почувствовал отчаяние.

От этих большевиков негде было спрятаться! Они сумели и в Батуме, на самом краю земли, настичь меня. Этот краснокавказец появился возле меня в самый захватывающий момент в моей жизни!

Что ему надо?

Для чего он здесь появился?

Неужели только ради того, чтобы составить протокол, подтверждающий, будто некто Булгаков, белый офицер и монархист, произвел на берегу предсказанное Марксом самоубийство посредством утопления себя в море, чем доказал нежизнеспособность контрреволюционных идей и крах Белого движения? Следовательно, еще одного классового врага можно списать в архив.

Дата, подпись...»

«...место здесь неудобное, – проинформировал меня сосед.

Он остановился метрах в трех. Стоя, снял вполне приличные мягкие сапоги и без раздумий принялся развязывать веревочку на кальсонах. Я еще тогда обратил внимание, что второй и третий палец на его правой ноге срослись. Мне, медику, не надо было объяснять значение этого мелкого уродства. В народе его именуют «копытом дьявола». Мне стало грустно – по иронии судьбы последним человеком на земле оказался большевик, да еще отмеченный дьявольской печатью на ноге.

Если это не мистика, что это, уважаемый Ванюша?»

«... – Вон там, – незнакомец кивком указал вправо, – и галка мелче, и берег положе.

Он дал мне совет с шибяющим кавказским акцентом, преследовавшим меня во Владикавказе, в Тифлисе, и здесь, в Батуме. Собственно, акцент привлек меня только потому, что, взвесив шансы, я решил, что у присоседившегося «товарища» денег с собой нет и грабить его не имеет смысла.

Между тем «товарищ» продолжал делиться опытом.

– ... всегда любил море. Даже в начале борьбы. К сожалению, времени тогда тоже было маловато. Окунешься и снова за дело...

– За дело мирового пролетариата? – уточнил я.

– Зачем пролетариата? За дело всех униженных и оскорбленных.

Я не выдержал.

– И за меня тоже? Из всех униженных и оскорбленных на сегодняшний день я самый униженный и оскорбленный...

Тут до меня дошло, чью фразу употребил грузин.

Оказывается, он почитывал Достоевского?.. Выходит, не из простых, из важных.

Молод?

Это пустяки. Во Владикавказе среди важных я и не таких молокососов видал. Один Астахов чего стоит.

Рыжеватый грузин присел рядом, достал трубку, набил ее табаком и закурил.

Я крупно сглотнул.

Он протянул мне кисет и заявил.

– Бумаги нет.

– Ничего, – ответил я. – Раздобуду клочок. Помирать, так с музыкой.

Я достал из кармана обрывок местной коммунистической газеты, который носил с собой в надежде стрелнуть табачку.

Сосед затынулся.

– Из бывших? Или сознательный контрреволюционер?..

– Никакой я не контрреволюционер! Из бывших – да! Окончил медицинский факультет университета. У белых служил врачом... – я жадно затынулся. – Теперь вот прикидываю, как бы мне свалить с вашей Совдепии, иначе кокнут меня здесь. Как пить дать кокнут.

– Что, уважаемый, руки по локот в крови?

– Боже упаси! Я же сказал – врач. Перевязки делал, руки, ноги приходилось пилить, но чтобы пускать кровь, Боже упаси!..

Тут я вспомнил о полковнике Лещенко и загрустил.

– Так зачем же уезжать? – удивился сосед. – Разве тебе, уважаемый, здес работы не найдется? Руки-ноги пилит...

– Ага, найдется, – усмехнулся я. – Как бы голову не отпилили.

– Зачем голову, если не виноват. Я смотрю, больших капиталов ты не нажил – сидишь, смотришь на турецкий пароход, прикидываешь, где дэнги раздобыть. Вот меня решил ограбить. Только у меня, уважаемый, дэнег тоже нет. Ни золота, ни серебра. Так что сейчас мы с тобой истинные пролетарии, только я сознательный, а ты несознательный.

Я уже совсем было собрался попрощаться, да черт меня дернул съязвить:

– Не такой уж я несознательный. Будьте благонадежны, что повидал, сумею рассказать.

Сосед удивился:

– Как это?

– Книгу напишу, как сознательные становились несознательными и наоборот, и что из этого вышло.

– Э-э, так ты писатель, – удивился грузин. – Книг пишешь?

Я замялся.

– Хотел написать, когда сотрудничал в лито во Владикавказе. Там и пьесы мои ставили о том, как ломаются мысли, как теряешь рассудок, как ищешь ответ, зачем это все со мной?

– Это хорошие мысли, – одобрил незнакомец и ткнул в меня трубкой. – Продуктивнии. Только кому они там нужны?

Он махнул рукой в сторону юго-запада, потом добавил:

– Там не нужны. Здесь нужны.

– Мои мысли вам не подойдут.

– Откуда знаешь? Если есть желание, почему не писат здес. Толко не надо твоего контрреволюционного «ага». Я серьезно говорю. Вижу, мается человек, а место неудобное выбрал. Я ему советую – отойди подальше, там топиться удобнее, а он, оказывается, литератор.

– Я не литератор, – возразил я.

– Станешь! – заверил сосед. – Но только здесь. Там, – опять тычок трубкой в сторону парохода, – там не станешь. Там дэнги нужны, а у тебя дэнег нет. И у меня нет. И у грузчиков, – он указал на полуголых босяков, таскавших мешки на турецкий пароход, – нет. Разве они не люди, разве им не нужны книги? Подумай, дорогой. И не спеши, я тебе как брат говорю.

Он зашел в море. У доброхотов, даже самых большевистских, почему-то никогда не бывает денег. *Советов* сколько угодно, а вот со средствами туго.

Он искупался, вышел на берег, натянул кальсоны, сапоги, брюки, рубашку, основательно заправил ее в брюки и, не попрощавшись, отправился в сторону порта.

Я остался лежать на обточенных соленой водой гольшах как мертвый. От голода ослабел совсем. С утра начиная до поздней ночи болела голова.

И вот ночь на море.

Я не вижу его, только слышу, как оно гудит.

Прихлынет и отхлынет. И шипит опоздавшая волна. Вдруг из-за темного мыса – трехъярусные огни.

«Полацкий» идет на Золотой Рог»<sup>14</sup>.

«...Довольно! Пусть светит Золотой Рог. Я не доберусь до него. Запас сил имеет предел. Их больше нет.

Я голоден, я сломлен! В мозгу у меня нет крови.

Я слаб и боязлив. Но здесь я больше не останусь.

Раз так... значит... значит... домой. По морю. Потом в теплушке. Не хватит денег – пешком. Но домой.

Жизнь погублена. Домой!.. В Москву! В Москву!!

...В Москву!!!

Прощай, Цихидзири. Прощай, Махинджаури. Прощай, Зеленый Мыс!»

«...так с головой я нырнул в катастрофу».

\* \* \*

«...потом мне рассказывали, будто, по словам Немировича-Данченко, обратившегося к Сталину за разъяснениями, вождь заверил Владимира Ивановича, что считает «Батум» очень хорошей пьесой, но к постановке она не годится. «Нельзя такое лицо, как И. В. Сталин, – заявил И. В. Сталин, – делать романтическим героем. Нельзя ставить его в выдуманные положения и вкладывать в его уста выдуманные слова».

---

<sup>14</sup> Об этом пароходе, о борт которого разбились надежды Булгакова, сообщила 29 августа одна из батумских газет: «20 августа в батумский порт прибыло два парохода – «Палацкий» (так!) и «Шефельд», доставившие большое количество грузов и пассажиров».

## Глава 5

За разъяснениями я обратился к Рылееву.

Лукич выслушал меня и после короткого раздумья заявил:

– Послушай, дружище, вряд ли, соблюдая хронологическую точность и скрупулезно воспроизводя уже известные детали, можно написать хороший роман. А нам нужен хороший роман, в котором должно высвечиваться время, а не даты, правда, а не истина, не так ли?..

– Кому это нам? – поинтересовался я.

– Тебе, мне, окружающим... – Рылеев неопределенно очертил рукой широкий круг, в который при желании можно было включить всех, кому дорога правда.

С этим бесспорным тезисом меня однажды познакомил мой прежний куратор Трущев Николай Михайлович. Он сослался на того же Толстого, утверждавшего, истина – это что-то чужое, холодное. Она пришла от немцев, значит, истиной можно поступиться. А вот правда – это что-то свое, родное, теплое, что необходимо защищать, не щадя жизни. Стоит только нащупать ее в душе, и тебе откроется дорога в рай. Бог, как говорится, не в силе, а в правде.

В этом, конечно, было зерно истины – или правды? – однако я уже не был тем доперестроечным простаком, чтобы безраздельно доверять чужому мнению. Как, например, расценивать выражение «истинная правда»?

Подтверждает ли оно Толстого?

Впрочем, вернемся к Трущеву. Верхним пределом человеческих возможностей, по его мнению, является отыскание согласия между этими метафизическими понятиями, хранящимися в душе. Только очень немногие святые сумели добраться до этой границы.

Рылеев, по-видимому, придерживался той же точки зрения. Он выразился в том смысле, что никакие воспоминания, тем более роман о Булгакове, немислимы без обращения к биографии Петробыча, который «тоже начудил немало».

Он закурил, потом положил папиросу в толстенную, под хрусталь, стеклянную пепельницу.

– В любом случае, соавтор, тебе не избежать обращения к биографическим подробностям. Я ни в коем случае не призываю скатываться в банально-сравнительное жизнеописание двух исторических персонажей, но рекомендую придерживаться проверенной временем установки – судьба каждого из них является как бы своеобразным зеркалом, в котором многомерно отразился не только его визави, но и правда эпохи.

Я не смог сдержать ухмылку.

Он рекомендует!..

Рылеев подчеркнул.

– Как, по какой причине Сталин и Булгаков оказались на одной исторической оси, какая сила поставила их лицом друг к другу, сказать не могу. Документы об этом умалчивают.

Так бывает, дружище.

Историческое местоположение выпало нашим героям как данность, в котором надо было не только существовать, но и действовать.

Но прежде всего *выжить!*

То есть не только не уйти в небытие по чужой воле, но, как бы ни было тяжело, любой ценой оставаться на сцене и до конца отыграть свою роль!

Это тяжкий жребий, приятель. Не каждому по плечу.

Что касается подробностей?..

Юрий Лукич сделал паузу, затем, будто мысленно заглянув в историческое зазеркалье, продолжил:

– Вкратце события начала 20-х годов, их общий фон, сводятся к тому, что весной двадцать первого – как раз когда Булгаков едва унес ноги из Владикавказа – Сталин едва не отдал Богу душу.

Глядя в мои изумленные глаза, веско добавил:

– Именно так, ни больше ни меньше.

Рылеев дал мне время переварить сказанное.

– В марте у Петробыча случился приступ перитонита. С этой хворью тогда шутки были плохи, ведь антибиотиков не существовало. Операцию делали в знаменитой Солдатенковской больнице. Операция была очень тяжелая – помимо удаления аппендикса пришлось сделать широкую резекцию слепой кишки, и никто из врачей не ручался за исход.

Каким образом Сталин выжил, наука умалчивает.

После сытной затяжки Рылеев продолжил:

– По свидетельству лечащего врача, Ленин по два раза на день, утром и вечером, звонил по прямому проводу. Причем Предсовнаркома не просто справлялся о здоровье «чудесного грузина», но и требовал от Розанова самого тщательного и обстоятельного доклада о состоянии пациента и принятых мерах.

Рылеев еще раз глубоко затянулся.

– Ленина очень беспокоило состояние здоровья Петробыча, прирученного им еще в пору начала революционной деятельности. Понятно почему?

Я отрицательно покачал головой.

– После Кронштадтского мятежа, после X съезда РКП(б), взявшего курс на новую экономическую политику, и нарастания давления Троцкого на верховные органы партии, жизнь Сталина и связанный с этим расклад сил в Политбюро приобретал существенное политическое значение. По этой причине Ильич решительно поддержал Розанова, запретившего пациенту братья за работу до тех пор, пока больной, сумевший выкарабкаться с того света, не восстановит силы. Именно Ленин решительно настоял на отпуске, который должен был незамедлительно предоставлен члену правительства и секретарю ЦК.

В июне двадцать первого Петробыча отправили в Нальчик на долечивание, но как всегда бывает в реальных историко-революционных сюжетах, один из его лучших друзей Серго Орджоникидзе, несмотря на строжайший запрет Ильича, вытащил еще не оправившегося после болезни Сталина из Нальчика в Тифлис, где только что установилась советская власть и нерешенных вопросов было хоть пруд пруди. Особенно возмущали товарища Серго происки местных коммунистов, настаивавших на реальном и полном суверенитете присоединенной к РСФСР республики.

С подачи Серго Сталин должен был дать им достойный отпор.

Дальше изложу тезисно. Можешь не записывать, у меня есть материалы на эту тему... Поищи в переданных тебе папках.

«...как утверждают историки, Петробыча уже тогда трудно было переспорить, и Ленин, ценивший волчью хватку своего ближайшего помощника, его умение «нажимать», нередко именно Сталина выпускал против Троцкого. Хотя еще в двадцатом наш «чудесный грузин» отправился на поклон к Льву Давыдычу – да-да, именно так! – и попытался убедить «демона революции» не забывать о нем при будущем распределении должностей в Политбюро и Совнаркоме.

Когда неизбежное случится...»

«...До 1924 года Троцкий однозначно считался в партии преемником Ленина. Его авторитет никем не оспаривался, разве что Лениным, однако к 1924 году Ильич был уже не тот.

Основателю партии, выдающемуся полемисту и бескомпромиссному революционеру день ото дня становилось хуже. После третьего удара он вовсе отошел от дел, лечился в Горках и подумывал о яде, с помощью которого надеялся избежать мучительной кончины. Понятно, что его ближайшим сподвижникам волей-неволей приходилось задумываться о своем будущем, так что такого рода пасы в сторону Троцкого делал не только «пламенный колхидец», но также «верный ученик» Зиновьев, «старый боец» Каменев и другие члены Политбюро, кроме разве что неунывахи Бухарина.

Этот был чудак из чудиков. Ему все было как с гуся вода. Он мог, например, явившись на заседание Политбюро, позволить себе встать на диване вверх ногами и простоять так минуту-другую.

Для восстановления «тонуса», как любил выражаться Коля-балаболка... Ведь, по существу, он был недоучкой и верхоглядом, а у нас в России, как нигде в мире, эти звания ценятся чрезвычайно высоко...»<sup>15</sup>

«...Что касается Зиновьева и Каменева, Троцкий отнесся к их просьбам уклончиво, чего не скажешь о Сталине, в отношении которого Троцкий сразу выказал крайнюю неуступчивость. На излучаемые «чудесным грузином» намеки Лев Давыдыч ответил, что в будущем составе правительства он на него «не рассчитывает». Тем самым наиумнейший, наихитрейший, наигордейший Лев Давыдыч сам натравил на себя «дикого горца».

Так что жаловаться некому.

Тем более писать пасквили!..»

«...Когда в Москве узнали об инициативе Серго, Ленин разбушевался. Мысль о том, что кто-то рискнул наплевать на его прямое указание, привела основателя партии в ярость. 4 июля 1921 года на Кавказ была отправлена правительственная телеграмма: «Удивлен, что отрываете Сталина от отдыха. Сталину надо бы отдохнуть еще 4–6 недель. Возьмите письменное заключение хороших врачей...»

17 и 25 августа на Кавказ были посланы еще две телеграммы с требованием объяснить, на каком основании товарищ Серго посмел оторвать Сталина от отдыха и излечения. Орджоникидзе и Сталин, сговорившись, ответили, что в Тифлисе Петробыч оказался проездом на пути в Батум, куда по рекомендации врачей отправился принимать морские ванны».

«...По версии Семена Григорьевича Гендина, именно в Батуме Сталин и Булгаков встретились в первый раз.

Для подтверждения этого факта на Лубянку был вызван Понырев, где его подвергли усиленному допросу, однако добиться от Бездомного вразумительного ответа не удалось.

Бывший поэт утверждал – даже божился! – что все, что он внес в свои воспоминания о встречах с Булгаковым, не более чем художественный вымысел. Якобы в первое весеннее полнолуние его неодолимо тянет на Патриаршие пруды, где он, присев на известную скамейку и, «разинув рот, наблюдает за волшебницей-луной». Понырев утверждал, что в такие моменты на него нисходит что-то похожее на головокружение и его нестерпимо тянет сочинять всякого рода отсебятину, которая якобы не имеет никакого отношения к интересующему нас вопросу и к которой, по словам того же Понырева, следует относиться снисходительно.

---

<sup>15</sup> Особое возмущение у Бухарина вызывал Есенин. Он утверждал, что поэзия Есенина не что иное, как возврат к «черносотенцу» Тютчеву.

В таком странном заявлении не было ничего удивительного, ведь Михаил Афанасьевич был опытный человек и умел скрывать смертельно опасные для здоровья факты, чему, по видимому, научил и своего протеже.

Булгаков вообще старался поменьше распространяться о том, что было связано с кавказскими приключениями, пережитыми в те окаянные дни. Например, Булгаков никогда и ни в одном документе не упоминал, что после Октябрьской революции служил врачом.

До – пожалуйста!

В протоколе допроса в 1926 году он собственной рукой зафиксировал, «с 1914 года до Февральской революции студент медфака, затем – врач».

И точка!»

«...Михаил Афанасьевич, дружище, был не так прост, как кажется. Можешь поинтересоваться у Бориса Этингофа. Гендин лично допрашивал его, протокол должен сохраниться в переданных тебе материалах. Там много интересного...

У Булгакова была своя мораль, свой, я бы сказал, взгляд на мир и его устройство. Михаил Афанасьевич сумел обобщить опыт быстротекущей жизни, что и тебе советую. Он порой был расчетлив до цинизма, и его можно понять – «господин де Булгаков» на собственной шкуре испытал, каких усилий стоило белогвардейскому офицеру выжить в толпе взбурдаженных перспективой мировой революции энтузиастов».

«...Не надо мыслить о творческом пути Булгакова как о чем-то исключительном для тех непростых лет. Тогда в тиши кабинетов на Лубянке и на Новой площади разрабатывалось много подобных операций, например «Михаил Шолохов», имевшей, к счастью, счастливый конец. Или «Борис Пастернак», завершившейся, правда, не так, как рассчитывали в Кремле, но тем не менее тоже вполне удачно для автора. Другие разработки заканчивались хуже, а то и совсем скверно. Так, например, случилось с Осипом Мандельштамом или Артемом Веселым, чье творчество, на мой взгляд, мало чем уступает такой глубине, как Шолохов.

Или оперативные мероприятия проводимые в отношении Бориса Пильняка. Желательно отметить в романе, что его трагическая судьба имела непосредственное отношение к Булгакову. Борис Андреевич был известный хам и никогда не обращал внимания на мелкоту типа Булгакова, «слизнувшего случайный успех на обывательском интересе к погоням и прочей белогвардейской ерундистике». Пильняка, например, на дух не переносил Есенин. В свою очередь, Михаил Афанасьевич после нескольких стычек с Есениным резко отрицательно отзывался о «крестьянине, записавшемся в поэты», но это к делу не относится...»

«...что касается коммунизма, это было стихийное упомешательство эпохи.

Это была заветная мечта целого поколения!

Это была моя мечта!!

Я сросся с ней, но мне повезло – я вовремя познакомился с булгаковскими текстами. Мне хватило булгаковской сметки не раствориться даже в самом величественном и захватывающем «изме», тем более не поддаваться сиюминутным, пронырливым и наглым «стям»!

Новая мораль, которой придерживался Булгаков, пришлась мне по вкусу. Он призывал – не срывайся, не падай, не ползи. И помни самое главное, ты – это ты! Михаил Афанасьевич настаивал – никогда не теряй достоинства, и, если вам вместо лиц будут показывать свиные рыла, если будут уверять, это реклама, всего лишь реклама, твердо повторяй – свиные рыла! Благодаря своевременному прочтению «господина де Булгаков» мне удалось сохранить руки чистыми, а это, дружище, немало.

Ой, как немало!..»

Он продемонстрировал мне свои узкие, налившиеся старческой желтизной, но вполне человеческие кисти, о которых с такой теплотой отзывался Дзержинский.

Затем ветеран довел свою мысль до жизнеутверждающего финала.

– Чего и тебе желаю, – посоветовал он. – В любом случае решение заняться литературной деятельностью, одолевшее Булгакова во Владикавказе, и тем более в Москве, было вызвано не столько юношескими фантазиями, сколько имело вполне практический расчет – поскорее забыть о врачебной деятельности.

Лично я всегда придерживался этой версии...»

Юрий Лукич подытожил.

– Жизнь «господина де Булгаков» буквально напичкана всякого рода пробелами и нестыковками, на чем Гендин Семен Григорьевич сумел ловко подсесть его в начале тридцатых годов. Кстати, поищи в материалах – там должен сохраниться отчет о его второй встрече со Сталиным. Насколько мне известно, с той поры они больше никогда не встречались.

Особый колорит этому факту придал жуткий мороз, который сковал Москву в ноябре 1921 года.

\* \* \*

Вернувшись домой, я долго сидел перед компьютером.

Голова гудела от истории.

Воспоминания, то бишь роман, распухали как снежный ком. Сюда, как на мед, слетались герои, которых ранее в помине не было. Хронологические рамки раздвигались за всякие разумные пределы, в текст навязчиво стучался нелепый медицинский подтекст и, что еще хуже, сомнительные «нестыковки» и «пробелы», о которых упоминал Рылеев.

Судя по исповедальным откровениям свалившегося мне на голову ветерана, эти домыслы следовало перевести в ранг «открытий», для чего он даже придумал «версию», которой мне рекомендовалось придерживаться.

Беда с этими отставниками от НКВД!

Им даже на пенсии трудно прожить без «версий»!..

\* \* \*

*Из записок профессора И. Н. Поньрева:*

«...вторая наша встреча, уважаемый Ванюша, пришлось на зиму двадцать первого года, когда мы с Тасей доходили в Москве от голода.

Клянусь бабушкой, это были ужасные дни и, если бы не Надежда Константиновна, нам с женой пришлось бы ночевать на вокзалах.

– Какая Надежда Константиновна? – поинтересовался я.

– Крупская, Иван Николаевич. Кру-пск-ая...

Заметив, как у меня вытянулось лицо, Михаил Афанасьевич, улыбнувшись, добавил:

– Она тогда заведовала Главполитпросветом и одновременно числилась главным редактором газеты «Рабочий», куда с Божьей помощью мне удалось устроиться литобработчиком...»

\* \* \*

«...приехал в Москву в конце сентября 1921 года. Самый переезд не составил особых затруднений, потому что все мое имущество помещалось в ручном чемоданчике.

Компактней не бывает.

Кроме того, на плечах у меня был бараний полушубок. Я называл его охабень, так как сшит он был мехом наружу. Не стану описывать его, чтобы не возбуждать у вас, Ванечка, чувство отвращения, которое до сих пор терзает меня при воспоминании об этой лохматой дряни. Достаточно сказать, что при первом же выходе на Тверскую я шесть раз слышал за своими плечами восхищенный шепот:

– Вот это полушубочек!

Два дня я ходил по Москве и, представьте, нашел место. Оно не было особенно блестящим, но и не хуже других.

Лито как лито. Здесь также давали крупу и также жалованье за август платили в декабре. И я начал служить. И вот тут в безобразнейшей наготе предо мной встал вопрос... о комнате.

Как ни крути, товарищ Бездомный, человеку нужна комната.

Без комнаты человек жить не может.

Мой полушубок заменял мне пальто, одеяло, скатерть и постель. Но он не мог заменить комнаты, так же как и чемоданчик. Чемоданчик был слишком мал. Кроме того, его нельзя было отапливать. И, кроме того, мне казалось неприличным, чтобы служащий человек жил в чемодане.

Где мне только не приходилось ночевать в те окаянные дни. В ноябре, помнится, я рискнул провести ночь на Пречистенском бульваре.

Он очень красив, этот бульвар, но в ноябре провести на нем больше одной ночи нельзя. Каждый, кто желает, может лично убедиться в этом – по точным сведениям науки на бульваре в конце осени случается даже не 18 градусов, а 271, – и все они ниже нуля. А для того, чтобы прекратить мою литературно-пролетарскую жизнь, достаточно гораздо меньшего количества этих градусов».

«...дотерпеть мне удалось только до полуночи, потом нервы не выдержали – я поднялся и начал прохаживаться по аллее.

Ночь выдалась светлая – небо безоблачное, луна в три четверти, белейший снег...

В тот момент, когда я развернулся и пошел в сторону Арбата, со стороны памятника Гоголю на бульваре показались двое.

Они двигались прямо на меня.

В первый момент я решил, что нарвался на грабителей, и для начала прикинул – не пора ли дать стрекача? Только драный полушубок мехом наружу, светившийся на плечах одного из незнакомцев, придавил дурную мысль.

Привлекшая мое внимание косматая дрянь приходилась родной сестрой моему охабню. Только ополоумевший бандит мог выйти на дело в таком приметном наряде. Правда, были и отличия – например, на моем охабне не было пуговиц. Он не застегивался, просто полы накладывались одна на другую и поддерживать их следовало длинными рукавами.

А у его брата были пуговицы – крупные и к тому же деревянные.

Заметив меня, незнакомец невольно притормозил.

Вам не дано вообразить, уважаемый Ванюша, что испытал неприкаянный, замерзший до отсутствия чувств, литератор, когда в приблизившемся незнакомце разглядел встреченного в Батуме кавказца, призывавшего его к служению грузчикам, прачкам, посудомойкам и

прочим пролетариям. О крестьянах я не говорю, так как крестьяне – вы, Ванюша, кажется, сам из крестьян? – тогда были поголовно неграмотны.

Он встретил меня уже подзабытым.

– Вах-вах, кого я вижу!

Сопровождавший его бравый громила в сапогах, наряженный в добротное стеганое пальто и казачью папаху, тут же сунул руку в карман, однако владелец полушубка жестом остановил его.

Я скромно потупил глаза, потом рискнул и поздоровался.

Поинтересовался здоровьем.

Он ответил, что морские ванны пошли ему на пользу.

– ...впрочем, как и вам тоже. На днях товарищи доложили, будто в Москве появилась выдающаяся доха, которая могла бы дать сто очков вперед моему полушубку. Я не поверил, ведь этот полушубок, валенки, а также шапку, я вывез из Енисейска, когда возвращался из ссылки в семнадцатом году. Неужели в Батуме тоже шьют такую шикарную меховую одежду?

– Нет, эту доху я раздобыл в Киеве.

– На улицах не смеются?

– Смеяться не смеются, но оглядываться оглядываются.

– Это не беда. Те, кто сегодня смеется или оглядывается, скоро перестанут. Привыкнут!

Мы, большевики, отучим их смеяться... Тем более оглядываться.

Должен признать, его русская речь заметно поправилась. Видно, Москва даже у самых национальных большевиков способна отбить местный акцент. Здесь воленс-неволенс заговоришь на самодержавном наречии.

Незнакомец не без большевистского юмора поинтересовался.

– Помню, вы отчаянно желали списать ваши прошлые контрреволюционные грешки на морскую стихию. Типер решили побороться с морозом?

Стараясь попасть зубом на зуб, я напомнил:

– Не вы ли советовали попробовать создать что-либо стоящее для грузчиков? Вот я, рассчитавшись с прошлым, приехал в Москву и даже работу нашел.

– Где, если не секрет?

– В Главполитпросвете.

Незнакомец хмыкнул.

– У Крупской, что ли? Неужели взяли?... Темна бюрократическая водица. На какую должность?

– Секретарем литературной секции. Будьте уверены, я уже успел освоиться в вашей социалистической действительности и заранее обзавелся рекомендательным письмом из Владикавказского ревкома – товарищ, мол, перековался и сердцем принял пролетарскую революцию, что доказал сочинением пьес о победе трудового кавказского народа над местными кулаками и феодалами.

– Не слишком ли быстро перековался?

– Жить захочешь, поторопишься.

– Чем сейчас занимаетесь?

– Из всех сил помогаю бороться с голодом. Сочиняю частушки.

– Например?..

Я не поленился встать в позу и продекламировал:

Ты знаешь, товарищ, про ужас голодный,  
Горит ли огонь в твоей честной груди?  
И если ты честен, то чем только можешь,

### На помощь голодным приди.

– М-да, – посочувствовал незнакомец, – такие стихи можно писат, только обморозившись.

Пришлось признаться:

– Я никогда не писал стихов.

Была ночь, мороз, самое глухое время суток. Вокруг – городская пустыня, в которой едва теплились тела трех человек – точнее, двух, потому что третий, в пальто, за все время нашего разговора так и не выказал никакого человеческого интереса к морозу, к лунной ночи, к встрече двух, сумевших увильнуть от смерти современников. Возможно, выполняя служебное задание, ему не полагалось мерзнуть?

Или быть человеком.

– ...беда без квартиры. Хотя бы какую-нибудь паршивую комнатешку советская власть мне выделила.

– А вы к советской власти обращались?

– Обращался. Не могу даже примерно припомнить, сколько раз ходил в домоуправление с просьбой прописать меня на совместное жительство.

Эта была настолько волнующая тема, что я не постеснялся выложить ему все – и про председателя домкома, толстого, окрашенного в самоварную краску человека в барашковой шапке и с барашковым же воротником. Он любил сидеть, растопырив локти и медными глазами изучая дыры на моем полушубке. Описал членов управления в барашковых шапках, окружавших своего предводителя».

«... – Пожалуйста, пропишите меня на совместное житье, – упрашивал я, – ведь хозяин комнаты ничего не имеет против, чтобы я жил в его комнате. Я очень тихий. Никому не буду мешать. Пьянствовать и стучать не буду...

– Нет, – отвечал председатель, – не пропишу. Вам не полагается жить в этом доме.

– Но где же мне жить? – спрашивал я. – Где? Нельзя мне жить на бульваре.

– Это меня не касается, – отвечал председатель, а его сообщники железными голосами кричали: – Вылетайте, как пробка!

– Я не пробка... я не пробка, – бормотал я в отчаянии, – куда же я вылечу? Я – человек».

«... – Отчаяние съело меня. Мои хождения продолжаются вторую неделю. Жену пристроил в медицинское общежитие, но и там ей покоя не дают. А сегодня ко мне явился какой-то хромой человек, в руках банка от керосина, и заявил, что, если я сегодня сам не уйду, завтра меня выведет милиция. Вот я и отправился на бульвар.

Незнакомец закурил, потом ткнув в мою сторону трубкой, поинтересовался:

– Почему вы, товарищ, решили, что советская власть – это вижиги из домкома? Это скорее отрыжка НЭПа, а не советская власть.

Превращение «завязтого белогвардейца» в «товарища» произошло настолько внезапно, что я растерялся. Слова не мог вымолвить. В тот момент мне ничего не оставалось как обратиться к Богу – так бывает?

Незнакомец тем временем начал агитировать меня в том смысле, что «советская власть» – это в первую очередь Владимир Ильич Ленин, затем ЦК...

Тема была настолько животрепещуща, что я не побоялся перебить агитатора:

– Что ж, мне прямо к Ленину за комнатой обращаться?

– Зачем сразу к Ленину, есть ЦК, губками, уками, первичные ячейки... Хотя можно и к Ленину.

– А вы где служите? – брякнул я.

Незнакомцу вопрос не понравился.

Он потушил трубку и сунул ее в карман.

– Мы не служим. Мы работаем. Боремся за дело пролетариата. Того и вам желаю.

Он попрощался и двинулся в сторону Волхонки.

Издали до меня донеслось – «какой ушлий?.. Где служите!..»

«...я впал в остервенение. На следующую ночь, пробравшись в запрещенную комнату, хозяин которой отбыл в Киев, я зажег толстую венчальную свечу с золотой спиралью. Электричество было сломано уже неделю, и мой друг освещался свечами, при свете которых его тетка вручила свое сердце и руку его дяде. Свеча плакала восковыми слезами, свет ее отражался в зеркале, а уж что творилось в зеркале, не буду рассказывать...»

Короче говоря, я разложил большой чистый лист бумаги и начал писать на нем нечто, начинавшееся словами:

«Председателю Совнаркома Владимиру Ильичу Ленину...»

Все, все я написал на этом листе: и как я поступил на службу, и как ходил в жилотдел, и как при 270 градусах ниже нуля над храмом Христа Спасителя видел звезды, и как мне кричали – вылетайте, как пробка!»

«...Ночью, черной и угольной, в холоде (отопление тоже сломалось) я заснул на дырявом диване и увидел во сне Ленина. Он сидел в кресле за письменным столом в круге света от лампы и смотрел на меня. Я же сидел на стуле напротив него в своем полушубке и рассказывал про звезды на бульваре, про венчальную свечу и председателя.

– Я не пробка, нет, не пробка, Владимир Ильич.

Слезы обильно струились из моих глаз.

– Так... так... так... – отвечал Ленин.

Потом он позвонил.

– Дать ему ордер на совместное жительство! Пусть сидит веки вечные в комнате и пишет там стихи про звезды, про помощь голодающим и тому подобную чепуху. И позвать ко мне этого каналью в барашковой шапке. Я ему покажу, как волокитить просьбы трудящихся!

Приводили председателя.

Толстый председатель плакал и бормотал:

– Я нечаянно. Я больше не буду».

«...Утром на службе все хохотали, увидев лист, писанный ночью при восковых свечах. Заведующий редакцией посочувствовал:

– Вы не дойдете до него, голубчик.

– Ну, так я дойду до Надежды Константиновны! – воскликнул я в отчаянии. – Мне теперь все равно. На бульвар я больше никогда не пойду ночевать».

«...И я дошел до нее.

В три часа дня вошел в кабинет. На письменном столе стоял телефонный аппарат.

Надежда Константиновна в вытертой какой-то меховой кацавейке вышла из-за стола и посмотрела на мой полушубок.

– Вы что хотите? – спросила она, разглядев в моих руках знаменитый лист.

– Я ничего не хочу, кроме одного – совместного жительства. Меня хотят выгнать. У меня нет никаких надежд ни на кого, кроме Председателя Совета Народных Комиссаров. Убедительно вас прошу передать ему это заявление.

И я вручил ей мой лист.

Она прочитала его.

– Нет, – сказала она, – такую штуку подавать Председателю Совета Народных Комиссаров нельзя!

– Что же мне делать? – спросил я и уронил шапку.

Надежда Константиновна взяла мой лист и написала сбоку красными чернилами: «*Прошу дать ордер на совместное жительство*». И подписала: «*Ульянова*». Точка.

Самое главное, Ваня, что я забыл ее поблагодарить.

Забыл!!

Криво надел шапку и вышел».

«...В четыре часа дня я вошел в прокуренное домовое управление.

Все были в сборе.

– Как? – вскричали все. – Вы еще тут?

Я зловеще поинтересовался.

– Так вы все еще желаете моего вылета? Как пробки? Да?!

Я вынул лист, выложил его на стол и указал пальцем на заветные слова. Барашковые шапки склонились над листом, и их мгновенно разбил паралич. По часам, что тикали на стене, могу сказать, сколько времени он продолжался.

Три минуты.

Затем председатель ожил и завел на меня угасающие глаза.

– Улья?.. – спросил он суконным голосом.

Опять в молчании тикали часы.

– Иван Иваныч, – расслабленно молвил барашковый председатель, – выпиши им, друг, ордерок на совместное жительство.

Друг Иван Иваныч взял книгу и, скребя пером, стал выписывать ордерок в гробовом молчании».

«...сколько лет я прожил в той комнате. Сейчас не помню... около восьми...

Самое главное, Крупскую тогда забыл поблагодарить. Неудобно как...

Благодарю вас, Надежда Константиновна».

## Глава 6

Аналитика подсказала – третьим лишним в ту роковую ночь на Гоголевском бульваре оказался охранник, приставленный к Сталину. В таком случае есть смысл поискать его отчет среди переданных мне материалов.

Так я наткнулся на папку, на титульном листе которой было выведено – «Протокол допроса», ниже неразборчиво, изрядно выцветшими чернилами, номер и фамилия...

Что-то тормознуло меня – какая-то, выражаясь словами Трущева, подспудная, перехватывающая дыхание антимолия. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы сложить буквы в знакомое словосочетание «По-ны-рева Ивана Нико-ла-евича», затем еще столько же, чтобы осознать ценность открытия.

Я раскрыл папку, на первом – титульном – листе уже однозначно читалась фамилия. Дата была замазана как и последние две цифры года, хотя ниже вполне ясно указывалось – год 1940-й и месяц – июль. Выходит, документ был составлен уже после смерти Булгакова?

Судя по нумерации, многих страниц не хватало. На полях встречались сделанные от руки пометки.

\* \* \*

### Протокол допроса

22 июля 1926 года

НКВД

Отдел... Секретный к делу...

1940 г. сентября месяца 22 дня, Я, следователь 2 отд. ГУГБ НКВД (СПО) Гендин допрашивал в качестве обвиняемого (*свидетеля*) гражданина Понырева И. Н. (он же Попов, Бездомный, Безродный, Беспризорный, Покинутый, Понырев, Тешкин) и на первоначально предложенные вопросы он показал:

1. Фамилия – Понырев.
2. Имя, отчество – Иван Николаевич.
3. Возраст (*год рождения*) – 1901.
4. Происхождение (*откуда родом, кто родители, национальность, гражданство или подданство*) – сын крестьянина Понырева Николая Демьяновича, проживающего в Подольском уезде Московской губернии.
5. Местожительство (*постоянное и последнее*). – М. Левшинский пер., д. 4., кв. 1.
6. Род занятий (*последнее место службы и должность*) – Институт мировой литературы, профессор.
7. Семейное положение (близкие родственники, их имена, фамилии, адреса, род занятий до революции и последнее время). – Женат первым браком. Фамилия жены – Суздальцева Нина Власьевна, дом. хоз.
8. Имущественное положение (*до и после революции допрашиваемого и родственников*). – Не имею.
9. Образовательный ценз (*первонач. образование, средняя школа, высшая, специальн., где, когда и т. д.*) – ц.-п. школа в деревне Томилино Подольского уезда, затем реальное училище, которое не закончил, коммунистические курсы при Промышленной академии в 1924 г., истфак МГУ 1934 г.

10. Партийность и политические убеждения – член партии с 1933 г. Политику ЦК разделяю полностью. Вижу массу недостатков в современном быту, но уверен, что партия в ближайшем будущем справится с ними.

11. Где жил, служил и чем занимался:

а) до войны 1914 г. был молод. Принимал участие в работе пролетарского поэтического кружка в Подольске. На правах слушателя;

б) где был, что делал в Февральскую революцию 17 г., принимал ли активное участие и в чем оно выразилось – в Февральской революции активного участия не принимал. С Февральской революции 17 г. до Октябрьской революции 17 г. работал на заводе Зингера;

в) где был, что делал в Октябрьскую революцию 17 г. – активно поддерживал установление советской власти. С Октябрьской революции 17 г. по настоящий день – с конца 1919 г. проживаю в Москве.

12. Сведения о прежней судимости (*до Октябр. революции и после нее*). – Не имею.

*Записано с моих слов верно: записанное мне прочитано*

*Иван Поньрев (см. лист 2-й).*

#### **Показания по существу дела:**

Литературным трудом начал заниматься с осени 1919 г. после приезда в гор. Москву. Вступил в группу пролетарских поэтов «Кузница». Своих убеждений не изменил, только усугубил с помощью учебы и самовоспитания в духе пролетарского интернационализма и требований истории.

Знакомство с гражданином Булгаковым М. А. подтверждаю.

Насчет поджога Писательского клуба, заявляю – это наглая клевета!

За черным котом гонялся, не отрицаю. И кто бы, особенно в подпитии, прошел мимо этой буржуазной морды! Кто бы не попытался пнуть его ногой, когда он нагло перебегает вам дорогу! Но жечь дворцы, этого, извините, не было. Заверяю вас, гражданин следовательно, честным коммунистическим приветом.

*Записано с моих слов верно.*

*И. Поньрев*

**Следователь:** Вы утверждаете, что познакомились с Булгаковым в бильярдной Писательского дома на Тверском бульваре?

**Поньрев:** Да, подтверждаю.

**Следователь:** Укажите фамилии лиц, бывающих в этой бильярдной?

**Поньрев:** Отказываюсь по соображениям этического порядка.

**Следователь:** Велись ли в бильярдной разговоры на политические темы, если да, укажите, кто и в каком разрезе высказывался?

**Поньрев:** При мне такие разговоры не велись, разве что я запомнил. Только товарищ Маяковский упрекнул товарища Булгакова в низкопоклонстве перед мешанством, но это была шутка, гражданин следовательно. Они любили пошутить. Когда Маяковский и Булгаков играли в бильярд, туда набивалась масса народу. Все ждали скандала.

**Следователь:** Осветите эту шутку подробней.

**Поньрев:** Ну-у... Булгаков заказал удар от двух бортов в середину. Ударил и промахнулся. Маяковский посочувствовал – бывает. Потом успокоил – разбогатеете на своих тётях манях и дядях ваях, выстроите загородный дом с огромным собственным бильярдом. Непременно навещу и потренирую.

...Булгаков развел руками.

– Благодарствую. Какой уж там дом!

– А почему бы?

– О, Владимир Владимирович, но и вам, смею уверить, клопомор не поможет. Загородный дом с собственным бильярдом выстроит на наших с вами костях ваш Присыпкин.

Маяковский выкатил лошадиный глаз – они у него действительно были как у коня – и, зажав папиросу в углу рта, мотнул головой:

– Абсолютно согласен.

Вот, в общем, и все. Все, кто ждал скандала, разошлись разочарованные...

Далее следовал отрывок, написанный рукой самого допрашиваемого.

«...точную дату не помню, но не позже двадцать третьего года. Что отложилось в памяти, так это день, весенний, ветреный. Признаю, я навязался в попутчики гражданину Булгакову. Играя с Михаилом Афанасьевичем в бильярд, Маяковский обозвал меня «бездомным».

Я почувствовал в его словах насмешку, и невзирая на то, что партия нарекла Маяковского лучшим поэтом революционной эпохи, моя обида великому пролетарскому поэту была что с гуся вода.

Великий поэт постарался развить тему.

– А что, Ванюха, неплохой псевдоним! Иван Бездомный! Отлично звучит. На всю жизнь запомни, кто тебя так по-царски окрестил. А то Поньрев! Что это за обозначение для пролетарского поэта – Поньрев! Никакой сладкозвучности. Как считаете, господин Булгаков?

Булгаков пожал плечами.

– Непонятно, чем вам фамилия Поньрев не нравится?

– Нет революционного задора, – объяснил Владимир Владимирович. – Нет пролетарского разворота плеч! Что-то вроде Поньряев Тимирзяй или Тимирзяев Поньряй. Лучше бы, ты, Иван, назывался Безъязыким, чем Поньревым. Или Безлюдным... А то еще хлеще – Безыменским. Я вот сейчас шестой в дальнюю лузу. Как относитесь к моему предложению, господин Булгаков?

– Нет уж, лучше как родители нарекли. И, заметьте, революционности у Вани от этого не убудет...

Маяковский допекал меня до того самого момента, пока я от обиды не выскочил из бильярдной.

Устроился на скамейке в скверике при Писательском доме.

Закурил...

Конечно, гражданин следователь, если революция потребует назваться Поньряевым да еще Тимирзяем, пусть даже Вислохуилом или Балдаебом, Максимилаином или Всюдукаином, я выполню приказ, но ведь революция этого не требует! Она требует следить за чистой мыслью, за боевым духом, за сохранением и преумножением бдительности, а с этим у меня все в порядке.

**Следователь:** Вы, товарищ Поньрев, на Вислохуилов и Максимилаинов не отвлекайтесь. Расскажите о разговоре с Булгаковым.

**Поньрев:** Так я уже все написал!..»

\* \* \*

«... – Если вы интересуетесь насчет поджога Писательского клуба на Тверском бульваре, по существу дела могу сообщить – этим занимались члены преступной группы Воланда. Их было двое: один по кличке Фагот (Коровьев) – на редкость отвратительная личность, – и уже упоминавшийся мною небезызвестный черный котяра, умевший настолько ловко пускать пыль в глаза, что даже я, сознательный пролетарий, воочию наблюдавший его преступные деяния, докатился до такого мракобесия, что принял махрового реакционера за кошачье животное.

Они, гражданин следователь, умели маскироваться – что да, то да! Опыта в подпольной деятельности им было не занимать...

Со своей стороны признаю, что встретиться с преступниками и их главарем Воландом, как справедливо указано в интересующем вас романе, оппортунисты принудили меня на Патриарших прудах, причем в тот самый момент, когда мы с трагически погибшим Берлиозом – это, как вы понимаете, литературный псевдоним – намечали план антирелигиозной пропаганды. Наша цель была вырвать несознательную массу из сетей религиозных предрассудков. В таком разрезе мы и разбирали мою поэму, посвященную разоблачению так называемого Иисуса Христа, якобы явившегося на землю с легендарной вестью.

Признаю, что Берлиоз настаивал, будто никакого Христа и в помине не было, а его... за это... под... трамвай...»

**Следователь:** Перестаньте, свидетель! Вы же не красная девица, чтобы пускать слезу по всякому поводу!..

**Понырев:** Да-а, вам легко говорить! А мне-то каково?! Голову прямо начисто – дзинь! Лично присутствовал, сам видел. Не привык скрывать правду! Докладываю! Раз! – голова прочь! Правая нога – хрусть, пополам! Левая – хрусть, пополам! Вот до чего эти трамваи доводят!

**Следователь:** Что вы мне тут, гражданин Поныряев, ваньку валяете?! Вы что считаете, я роман не читал? Это Коровьева слова! Вы за свои поступки отвечайте. Они сами за себя говорят. Вроде бы сознательный товарищ, а с зажженной свечкой по Москве бегали и все норовили к голой гражданке в ванну влезть!..

**Понырев:** Чтобы я к голой гражданке в ванну?! Да помилуй Бог!..

**Следователь:** Вот-вот, помилуй!.. Бог, может, и помилует, а советская власть вряд ли. Я вас, свидетель, предупреждаю – поостерегитесь прикрываться фиговым листком литературных страниц, а честно и без воплей, без всяких «хрусть», «хрясть» и прочих антимоний расскажите, что вы готовы показать по делу банды Воланда!

**Понырев:** Рад стараться!

**Следователь:** Опя-ять?

**Понырев:** Да поми... Господи, что же это со мной?! Честное коммунистическое, я не виноват! Я все выложу, что было и чего не было. Я же понимаю напряженность момента... Гитлер во-она как расшагался по Европе. Я все понимаю! Рад стараться, но не получается. Голос подводит. Мне легче написать...

Признаю, что упоминаемый вами Булгаков Михаил Афанасьич скептически относился к этой истине... пардон, версии, насчет Иисуса Христа. Он толковал этот образ несколько своеобразно, в реальном, так сказать, воображении, будто бы Христос на самом деле явился в мир для того, чтобы...

*(В этом месте свидетель ненадолго задумался.)*

Готов признать, что он и меня сумел заразить сомнениями, особенно в отношении кота. Вот почему, гражданин следователь, я решил на время бросить поэзию и подучиться, чтобы навести ясность в этом непростом вопросе.

**Следователь:** Понырев, опять ваньку валяешь? Перед кем валяете ваньку, гражданин Понырев? Перед советской властью?!

Не выйдет!

Мы и не таких, как ты, ушлых, кололи, так что давай с самого начала. Опиши обстоятельно и подробно, где, когда и при каких обстоятельствах повстречал преступную группу, возглавляемую неким аферистом и иностранным шпионом Воландом, представившимся как профессор черной и белой магии и прочее, прочее, прочее... И с какого бока сюда подкатился выдающийся советский драматург Михаил Афанасьевич Булгаков.

Мы мно-о-ого знаем, гражданин Понырев, он же Иван Бездомный, он же Приблудный, и еще пара кличек, которые кое-кто из ротозеев принимает за псевдонимы. Так что, гражданин Понырев, выкладывай подноготную и не ерепенься, когда тебя партия спрашивает.

Поил?!

**Понырев:** Так точно.

«...что касается Маяковского и его наплевательского отношения к товарищам по поэтическому цеху, так я покуривал, пока из дома литераторов не вышел товарищ Булгаков. Заметив мою скукоженную физиономию, он посоветовал:

– Вы, товарищ, не переживайте за Маяковского. Если считаете себя Поныревым, считайте на здоровье. Ничего контрреволюционного в вашей фамилии нет. Вполне достойная русская фамилия. Вы сами из каких?

– Из крестьян. Дядя в Подольске лавку книжную держал, меня из деревни направили к нему в помощники, вот и пристрастился к чтению. Потом сам начал сочинять... Вы не подумайте, гражданин Булгаков, если революция потребует...

– Не потребует. А почему он вас «Бездомным» обозвал?

– Третий месяц по улицам шляюсь. Ночую на скамейках. Хотел здесь пристроиться, но швейцар по приказу Якова Даниловича<sup>16</sup> гонит. Нечего, говорит, в подштанниках со свечкой в Дом литераторов переться!.. В прошлом месяце обворовали, стихи печатать не берут, вот и приходится перебиваться грузчиком.

– Превращение грузчика в поэта – это интересно! Я бы сказал, перспективно. Как-то один мудрый человек посоветовал мне писать для грузчиков, но даже он не мог предположить, что грузчики тоже полезут в поэты. А на Пречистенском бульваре вам ночевать не приходилось?

– Что было, то было. Только в летнюю пору. Зимой там холодно, просто неможется. Будто 271 градус ниже нуля.

– Знаю, – кивнул Булгаков. – Пробовал. Ладно, на одну ночь я дам вам приют, а потом решайте сами. Может, лучше возвратиться в Подольск?

Я, гражданин следователь, помню, набычился...

– Чтобы записаться на биржу труда? Или висеть камнем у отца на шее?.. У него помимо меня еще пятеро.

Так, гражданин следователь, судьба свела меня с Михаилом Афанасьевичем».

«...Не буду утверждать, что он стал моим учителем. Своими учителями считаю товарищей Маркса, Энгельса и товарища Ленина. Что касается Булгакова, мозги он мне чуток

---

<sup>16</sup> Розенталь Яков Данилович (1893–1966) (по прозвищу «Борода») – прототип Арчибальда Арчибальдовича в «Мастере и Маргарите», в 1925–1931 гг. являлся директором ресторана в Доме Герцена (в романе представлен как Дом Грибоедова).

подправил – что было, то было, – но нимало не в ущерб светлой идее коммунизма. Мы, гражданин следователь, рассуждали исключительно о литературе – что хорошо в литературе и что плохо.

Клянусь, в этом не было ничего буржуазного!

**Следователь:** Кто еще присутствовал при ваших разговорах и о какой конкретно литературе вы любили рассуждать. Все подробненько, а то у вас в отчете все больше о высоких материях, а нам хотелось бы, чтобы вы поточнее обрисовали политическое лицо Булгакова, а также господина Воланда и его компании. Вы же активист!..

**Понырев:** Активист-то я активист, только о компании Воланда я больше слышать не хочу, не то, чтобы знаясь. Вы уж увольте, гражданин следователь. Что касается гражданина Булгакова, когда мы пришли к нему домой, он представил меня жене – вот еще одного футуриста привел. Пусть переночует.

Любовь Евгеньевна спросила:

– Это который будет по счету?

– Третий, – признался Михаил Афанасьевич.

Жена задумалась.

– Помнится, первые двое агитировали посетить театр Мейерхольда. Надеюсь, этот ночью агитировать или стихов читать не будет?

– Никак нет, – ответил я».

\* \* \*

За разъяснениями я отправился к Рылееву.

Эти страницы он прокомментировал не без внутреннего сопротивления.

– Не буду скрывать, это был мой первый допрос по делу Воланда, и я волновался поболее, чем твой Понырев.

Он потянулся за папиросной пачкой, вытащил «беломорину», не спеша закурил, тем самым как бы давая мне время прийти в себя, затем уже более раскованно продолжил:

– Мой новый руководитель Виктор Николаевич Ильин<sup>17</sup>, сменивший Гендина на посту начальника третьего отдела Секретно-политического управления НКВД, ознакомившись с протоколом, сделал мне мягкое внушение.

«... – Юра, не надо перегибать палку. Во-первых, Понырев проходит по делу не как подследственный, а как свидетель. Во-вторых, он после встречи с молодчиками Ежова немного не в себе. В-третьих – и это самое важное, – дело наше, как ты успел убедиться, не совсем обычное. Проще говоря, совсем необычное. На общепринятом языке я бы назвал его абсурдным, а тех, кто дает показания, – сумасшедшими, но, как заметил по этому поводу товарищ Сталин, «... чекисты должны предусмотреть всякую, даже самую мельчайшую, самую невероятную возможность, которой может воспользоваться враг, пытаясь проникнуть в наши ряды. Даже медицинское вредительство...»

---

<sup>17</sup> Ильин Виктор Николаевич (? – 1990) – участник Гражданской войны, политработник, заместитель директора треста «Союзкинохроника», работал в «Соввоенкино» и «Востокфильме». В начале 30-х годов перешел в НКВД (отвечал за работу с меньшевиками). Комиссар госбезопасности, начальник третьего отдела Секретно-политического управления НКВД, ведавшего вопросами работы с творческой интеллигенцией. В 1943 году был арестован. Реабилитирован в 1954 году. В 1956 году был назначен оргсекретарем Московского отделения Союза писателей, где работал до 1977 года. Умер в 1990 году.

«... – С этим Воландом и его сообщниками, – поставил задачу вождь, – следует детально разобраться!

Лаврентий Павлович попытался возразить, что Воланда и его подручных нет в природе. Они в каком-то смысле литературные персонажи, не более того.

Сталин даже обрадовался.

– Вот именно, персонажи! А у каждого персонажа, как считают в отделе агитации и пропаганды ЦК, есть прототип. Политбюро поддерживает эту позицию. Впрочем, зачем спорить?! Пусть наши доблестные чекисты разберутся, были у Воланда и его банды прототипы или нет?»

Ильин дал мне время осмыслить сказанное, после чего подытожил.

– Твоя задача – обеспечить надежное прикрытие операции, находящейся на контроле у самого!.. Выше, Рылеев, контроля не бывает! Необходимо любой ценой затушевать причину, по которой мы взялись за эту сверхсекретную разработку, начало которой положил небезызвестный тебе Гендин, оказавшийся, к сожалению, матерым врагом народа. Заруби себе на носу – в первую очередь тебя должен интересовать результат, а результата по такому необычному делу можно добиться, только накопив как можно больше материалов. В данной ситуации не так важны источники информации, как ее сбор.

Чем больше, тем лучше!

Пусть выскажутся все, кто так или иначе оказался причастным к этому делу. Пусть Понырев бродит по переулкам, пусть пялится на луну, пусть бредит вслух – главное, чтобы он написал подробные воспоминания о встречах с Булгаковым. Тщательно фиксируйте все, что наговорят так называемые свидетели.

И вот что еще...

Не следует их пугать, иначе они начнут выдавать такую ересь, что всякий здравомыслящий человек, особенно из комиссии партконтроля, задумается – а не наводят ли храбрые чекисты тень на плетень?

Наша цель – любой ценой избежать таких вопросов, поэтому следует еще раз хорошенько продумать весь план мероприятий и сделать упор на беллетристику в духе Понырева.

Кстати, он неплохо излагает обстоятельства, связанные с появлением в Москве банды Воланда. Где гарантия, что эти махровые реакционеры не отправятся, например, в Киев на постой к дяде Берлиоза гражданину Поплавскому?

Что касается Понырева, имей в виду – он действительно может не знать всего, что происходило с Булгаковым. Особенно историю его любовей, испытанных им после развода с первой женой Татьяной Николаевной. Однако у нас есть и другие свидетели, например Николай Эрдман, отбывающий ссылку в Калинин (Твери). Насколько мне известно, он считается одним из ближайших друзей Михаила Афанасьевича. Используй также доброжелателей, внедренных в семью Булгакова. Их информационные сводки и агентурные донесения способны здорово помочь в розыскных мероприятиях. Пусть все внесут свою лепту в сбор материалов о выдающемся писателе нашего времени, о котором товарищ Сталин выразился предельно ясно: «...И люди политики, и люди литературы знают, что он (Булгаков) человек, не обременивший себя ни в творчестве, ни в жизни политической ложью, что путь его был искренен, органичен, а если в начале своего пути (а иногда и потом) он не все видел так, как оно было на самом деле, то в этом нет ничего удивительного. Хуже было бы, если бы он фальшивил».

Рылеев уточнил:

– Эти слова приписывают Александру Фадееву, однако путем оперативных мероприятий было установлено, что руководитель СП просто повторил то, что высказал Петробыч

по поводу смерти Михаила Афанасьевича. Это сталинская стилистика, его подход к делу – помянуть добрым словом человека, до конца исполнившего свой долг и сохранившего при этом честь и достоинство. Сам человек мало трогал воображение вождя. Ему, как оказалось впоследствии, было наплевать на исполнителей, но, как говорится, у великих людей великие слабости.

«...В конце разговора Ильин напутствовал меня:

– Верю, что вы, старший лейтенант, с честью справитесь с этим непростым заданием. Этого требует от нас партия. Это, Рылеев, игра за гранью риска».

– Вообрази, соавтор, что я должен был почувствовать, услышав такие слова. У меня даже мелькнула мысль обратиться к высшему руководству, чтобы те проверили Ильина на психику – здоров ли он или свихнулся, глядя на нашу писательскую интеллигенцию, которая на все лады, и спереди и сзади, восхваляла вождя. Остановила меня простенькая в своей одиозности мысль – если он инструктирует меня в таком необычном для НКВД разрезе, следовательно, его тоже кто-то проинструктировал.

Тогда чего я добьюсь своей докладной?

Меня тотчас упекут в спецпрофилакторий, как тех несчастных, ходивших на черного кота с револьверами.

Рылеев закурил.

– Сталин любил ставить подчиненных в тупик. Спросит как бы невзначай – как идет дело с разоблачением библейских негодяев? – тут не промолчишь. Придется доложить по всей форме. Это, надеюсь, ясно?

Я кивнул.

– Лаврентий Палыч сразу заподозрил подвох. По этому делу нельзя было работать спустя рукава, а при докладе обойтись общими словами: мол, рыли-рыли – ничего не нарыли. И то прими во внимание, еще четыре года назад вышел приказ, резко сокративший количество допущенных к делу Булгакова сотрудников и предписавший хранить все материалы по этому делу в особой папке, к которой имели доступ только Сталин и Берия, начальник отделения Ильин и я.

«...После 1936 года ты не найдешь в более-менее открытом доступе ни одного доноса на Булгакова. Они никогда не будут опубликованы, а ведь стукачи не ленились и до конца жизни Михаила Афанасьевича еженедельно отчитывались о проделанной работе».

«...в ходе оперативных мероприятий выяснилось, насколько своевременно руководство сориентировало чекистов в этом вопросе. Оказалось, враг рода человеческого не дремлет. То в одной, то в другой области проявляет активность. Однако все наши попытки взять под контроль, оказались безуспешны...»

\* \* \*

– Как считаешь, зачем Сталину понадобилась эта мистика?

Я отрицательно покачал головой. Что я понимал в высшем аппаратном пилотаже?

Юрий Лукич прищурился.

– Эх, молодо-зелено. Знаешь, какой самый надежный способ сохранить тайну? В этом деле никакая угроза наказания не поможет. Никакие грифы секретности не помогут. Лучшим способом маскировки являются как раз идиотские, на первый взгляд, задания.

«...Сознайся, до опубликования «Мастера и Маргариты» в журнале «Москва» ты, как и многие другие читатели, был уверен, что закатный роман Михаила Афанасьевича все эти годы пролежал под спудом в столе у Елены Сергеевны и был известен разве что кое-кому из ее друзей.

На самом деле за эти двадцать лет его прочли если не тысячи, то уж сотни граждан наверняка. И слухи о последнем романе Булгакова ходили...

И все молчали! И никому дела не было, кто скрывался под маской Воланда. А ведь среди читателей были вполне авторитетные и понимающие толк в литературе люди.

Вот так мы работали! Пришел срок – опубликуем, а до того, чтобы никаких преступных мыслей насчет Воланда.

Не надо суетиться, ребята. Вам скажут.

Объявят публично или на партсобрании огласят закрытое письмо ЦК...

Ветеран задумался, потом сделал решающее признание:

– И то прими во внимание, следствие по этому делу, дружище, продолжалось практически до начала войны. Я не знаю, сколько было потрачено сил и средств, но что удивительно, эти усилия не пропали даром. Архив Булгакова вдруг оказался востребованным в конце сорок четвертого года, когда твой знакомый Трущев обратился ко мне с просьбой подыскать знатока, который смог бы объяснить ему всю подноготную Führer der Welt<sup>18</sup>. Я предложил ему ознакомиться с последним романом Булгакова. Там о дьяволе много чего сказано. И написан здорово – не оторвешься...

Воспоминания увлекли Рылеева.

– Даже Хозяину понравилось. Он резолюцию наложил, правда, в устной форме – «пуст полежит до лучших времен».

Пауза.

– Что касается группы Воланда, эти негодяи действительно наворотили дел. Не говоря о похищении двух гражданок, четырех сожженных строениях и десятках доведенных до сумасшествия советских граждан, были и жертвы. О двух случаях со смертельным исходом теперь можно было говорить со всей определенностью.

Это, во-первых, небезызвестный Берлиоз, во-вторых, некий барон Майгель, служащий бюро по ознакомлению иностранцев с достопримечательностями столицы. И тот и другой – реальные люди. Имя прототипа Берлиоза мне раскрывать запретили. Сам догадайся, кого в этом случае Булгаков имел в виду.

Или придумай что-нибудь сенсационное...

Что касается Майгеля, его звали Б. Штейгер, он являлся уполномоченным коллегии Народного комиссариата просвещения РСФСР. Один из моих бывших коллег, державших барона на связи, охарактеризовал его как редкого по угодливости негодяя».

«...удивляла исключительная жестокость преступников. Одной из жертв отрезали голову, а обгоревшие кости второго были обнаружены в некоей «нехорошей» квартире по Большой Садовой. Только самые оголтелые враги советской власти позволяли себе такое остервенение. По этой причине первоначальная версия вертелась вокруг предположения – а не из Парижа ли понаехала к нам банда Воланда и прочие террористы?

Не из самого ли кутеповского Центра?»

---

<sup>18</sup> Здесь: «хозяина мира»

## Глава 7

Я молча выслушал Рылеева. Ни разу не перебил его, потом встал и молча, с решительной мыслью, что ноги моей больше в этом доме не будет, выбежал на улицу.

Здесь перевел дух.

Огляделся...

Кончался май, в городе уже несколько дней сгушалась жара.

Прямо передо мной, над забитой припаркованными машинами проезжей частью улочки, недавно переименованной в Гагаринский переулок, камнем нависал громадный «сталинский» дом. Одна из рекламных вывесок над сквозным арочным проходом приглашала зайти во двор и посетить «Центр клинической психиатрии». Это было очень своевременное предложение.

Две других предлагали посетить салон красоты «Блеск», а заодно адвоката, решавшего за клиента все трудности с законом.

Слава богу, у меня не было трудностей с законом.

У меня были проблемы с самим собой.

С тем же Рылеевым...

Он играл со мной в прятки. Или, что еще отвратительней, втянул в какую-то нелепую бестолковую игру.

Кто являлся прототипом Берлиоза?

Да не все ли равно!! Чем это поможет мне выжить?

Я двинулся куда глаза глядят.

Ноги сами вынесли меня на Гоголевский бульвар. Здесь притормозил и ни с того ни с сего, не без внутреннего ироничного укора, прикинул, где могла бы состояться встреча двух исторических персонажей, выдуманная этим свихнувшимся отставником.

Судя по детально проведенным краеведческим изысканиям, со времен Булгакова здесь мало что изменилось. Разве что поставили новый памятник Гоголю – в начале бульвара, со стороны Арбатской площади.

Парадный, в полный рост...

Прежний, уютный, в кресле, переместили через площадь во двор библиотеки, причем выражение лиц обоих идолов благодарные потомки сохранили один к одному. Тот же скошенный взгляд, та же непростая дума на челе, тягостные металлические раздумья о судьбах своих героев.

Гоголю было о чем задуматься, ведь каждому из них в качестве обвинения можно было предъявить не только «пародию на человечество», но, что еще страшнее, участие в нещадной эксплуатации человека человеком.

Приняв во внимание посмертную судьбу классика, уже в могиле лишенного головы, не трудно было вообразить, о чем говорили мастер и политик, встретившись в Москве спустя несколько месяцев после Батума.

И понесло...

Кто такой Берлиоз?

Являлся ли Степа Лиходеев членом партии?

Не из Парижа ли, из самого кутеповского Центра, прибыла в Москву банда Воланда?

Почему Сталин запретил постановку «Батума», ведь он дал путевку в жизнь не только куда более слабым, переполненным риторикой спектаклям о себе, но и кинофильмам, а это куда более широкая аудитория. Ладно, «Александр Пархоменко» – эта лента хотя бы обладала несомненными художественными достоинствами, но «Оборона Царицына» или

«Восемнадцатый год»?.. С первого до последнего кадра – агитки. «Батум» был на голову выше любой поделки на эту тему. Его, конечно, трудно назвать шедевром, но пьеса крепко сколочена, в ней соблюден булгаковский ритм и стиль.

Как можно допрашивать литературных персонажей?

Зачем врет Рылеев?

И главное, зачем все это – вяло текущая жизнь, начало лета, угрюмый Гоголь, стоя обдумывающий очередное – не знаю, какое по счету? – путешествие Чичикова.

Далее я брел – как бы помягче выразиться? – не разбирая дороги. Сам не заметил, как очутился на Патриаршем.

Пруд как пруд.

Ничего контрреволюционного. Мелькнуло в памяти странное для русского уха имя – Максимилаин. Или, что еще жестче – Вовсюкакий!..

Или Всюдукакий!..

Я присел на скамейку и дождался, пока над домами не выкатилась огромная, величиной с боевой планетоид, луна и уставилась на меня с таким видом, будто я саботажник или, что еще хуже, дезертир. Клянусь бабушкой, ночное светило потребовало роман или по крайней мере воспоминаний, но ни в коем случае не мемуаров, как оно требовало воспоминаний у самого последовательного борца с нечистой силой, каким в пылу борьбы выказал себя Иван Николаевич Понырев, он же Иван Бездомный.

Тут я поймал себя на мысли, что заговорил на поныряевском языке.

Это скверно, это предвещает...

Я вскочил, бросился к калитке, возле которой когда-то зарезало Берлиоза, и замер – здесь, с этой стороны пруда, никогда не ходили трамваи!!

Что же получается – господин де Гаков не только не побоялся передвинуть в уме трамвайные линии, на словах застрелить негодяя, пытавшего «людыну», но и запросто раздвинуть комнату в убогой советской коммуналке до размеров парадного зала. Он не побоялся описать все мыслимые и немыслимые измерения, из которых до сих пор не может выбраться человек; пристроить к делу самых фантастических героев, пообщаться с Люцифером, и при всем том, отправившись в мир иной, наш доморощенный Мольер не поленился оставить потомкам груды интригующих загадок.

Что уж тут валить на Рылеева? С кем поведешься, от того и наберешься. Как иначе разговаривать былое? История любит задавать вопросы или придумывать объяснения, от которых волосы начинают шевелиться на голове.

А еще история любит шутить, любит поиграть именами и названиями. Если Гагаринский переулок, где ныне проживает Юрий Лукич, в советское время назывался улицей Рылеева, это что-нибудь да значит!..

Не так ли?..

Помнится, ветеран НКВД упоминал о Борисе Этингофе...

Это что за фрукт?..

\* \* \*

Уже дома, в родном кресле, покопавшись в грудe бумаг, подsunутых мне свихнувшимся энкавэдэшником, я наткнулся на протокол, в котором Борис Евгеньевич Этингоф, большевик с подпольным стажем, активный участник Гражданской войны, комиссар бригады, а затем кавалерийской дивизии, участвовавшей в кровавых боях зимой 1920 года на Северном Кавказе, – давал показания о Булгакове.

Допрос был проведен в августе 1927 года. В который раз я поразился бюрократической предусмотрительности Рылеева – документ, который не мог существовать в природе, был оформлен по всей форме, хоть на экспертизу посылай.

«...**Следователь:** Товарищ Этингоф, когда и где вы познакомились с гражданином Булгаковым?»

**Этингоф:** Это случилось в начале 1921 г. на левом берегу Маныча, в Екатериновке. После удара по левому флангу Кубанской армии к нам в плен попала большая группа белогвардейских офицеров. Среди них оказались медицинские работники, приписанные к полевым частям белых.

Офицеры, конечно, в расход – время было такое, а с медиками я в качестве военкома<sup>19</sup> провел обстоятельную беседу на предмет того, что в наших рядах свирепствует тиф. В некоторых эскадронах оставалась хорошо если сотня, а то десяток бойцов. Другие валялись вповалку с призрачной надеждой на выздоровление. С медицинским персоналом у нас было скверно – не желала белая кость оказывать услуги взбунтовавшейся черни. К тому же, товарищ Гендин, примите во внимание зимние условия. В те дни мороз порой доходил до пятнадцати градусов ниже нуля. И страшные ветра...

**Следователь:** Борис Евгеньевич, я воевал в 8-й армии у Сокольников<sup>20</sup>. В особом отделе. И примерно в то же время. Сам едва не угодил в плен к казакам.

**Этингоф:** Тогда не буду останавливаться на деталях. Я обратился к пленным врачам – господа офицеры, мы несем потери от тифа. Вы будете нас лечить? Выбор, что и говорить, непростой.

**Следователь:** Зачем вы мне это рассказываете, Борис Евгеньевич? Я же сказал, что воевал на Северном Кавказе. Враг он и есть враг. Вы о Булгакове расскажите...

**Этингоф:** Я к тому и веду... Так случилось, что на днях мне пришлось побывать на «Днях Турбинных» в Московском Художественном театре, и я впервые задумался – а не пора ли нам... как-то подвести итог.

**Следователь:** По этому пункту у нас с вами, Борис Евгеньевич, разные взгляды! Итог нашей революции – победа пролетариата во всемирном масштабе. Но это к делу не относится. Давайте ближе к теме, пожалуйста...

**Этингоф:** Я дал офицерам полчаса на размышление. Двое отказались, а третий, приписанный к 3-му Терскому казачьему полку, согласился. Он назвался Булгаковым Михаилом Афанасьевичем и при всех открыто заявил, что в первую очередь он врач, и во вторую – офицер. Положение обязывает помочь несчастным. Один из отказников обозвал Булгакова «иудой», однако тот повторил – прежде всего я врач.

Я не сразу поверил Булгакову, однако он действительно старался изо всех сил. Трое суток не смыкал глаз. Он делал все, что мог, и вовсе не из-за страха смерти. Тогда с этим было просто. Вспомните того же комдива Азина, попавшего к белым в руки. Его замучили так, что на повешенные в Тихорецкой останки смотреть было страшно.

Когда больные начали называть его «братком», а особо темные крестить, я, Семен Григорьевич, проникся к нему сочувствием. Беда случилась, когда кончились медикаменты. Мы послали запрос в штаб армии, там несколько дней отмалчивались, а за эти дни случилось вот что – один из эскадронных командиров, Чумаков, пригрозил Михаилу Афанасьевичу расстрелом, если тот не спасет его брата. На «белую гниду», предупредил эскадронный, рука у него не дрогнет. Когда Чумакову сообщили, что брат его умер, он отправился приво-

---

<sup>19</sup> Военного комиссара.

<sup>20</sup> Бриллиант Григорий Яковлевич (партийный псевдоним Сокольников) (1888–1939) – большевик с подпольным стажем. В истории более известен как первый нарком финансов СССР, восстановивший твердый курс рубля. В 1929–1932 годы полпред СССР в Великобритании, затем работал в Наркоминделе. Был репрессирован.

дить приговор в исполнение. Его едва успели перехватить. Кто-то из бойцов сумел выбить у Чумакова револьвер, другой бросился в штаб, а Булгаков как вскочил – так и стоял перед Чумаковым столбом, пока мы с комбригом не прибежали.

Помню, побелел Булгаков до смерти. Пришлось потом отпаивать его самым крепким первачом...

Эскадронного мы с комбригом сумели приструнить, однако тот не успокоился и через нашу голову отправил вестового в штаб армии, чтобы тот сообщил кому надо о «медицинском вредительстве».

Дня через два или три – сейчас уже точно не помню – к нам в бригаду приехала комиссия якобы для проверки санитарного обеспечения наступающих войск. Комиссия состояла из председателя – военврача – и лично мне знакомого товарища Таранова из особого отдела. Мы и знать не знали, что это Чумаков постарался...

Я поговорил с особистом. Тот и выложил – чем ты, Борис Евгеньевич, можешь подтвердить правильность лечения, применяемого пленным беляком?

Обычное дело, товарищ Гендин. Вместо того чтобы подбросить медикаменты, к нам направили комиссию, чтобы разобраться, не занимается ли пригретый начальством белогвардеец саботажем и агитацией в пользу бешеного пса старого режима Деникина, а также кто этому конкретно потворствовал.

**Следователь:** Что дальше?

**Этингоф:** Я взял на себя ответственность, и крепко поговорил с Тарановым. Напомнил, что медикаментов комиссия не привезла, а занялась бумажной писаниной, что вполне можно расценить как саботаж. Комбриг поддержал меня... В общем, мы договорились не раздувать из мухи слона. На всякий случай той же ночью я дал Булгакову сопровождающего и отправил в сторону ближайшей железнодорожной станции. Ну, эти из комиссии, потыркались, поставили мне на вид за потерю бдительности и уехали.

Через два дня началось наступление и мы окончательно разделали белоказаков под Егорлыкской. Слыхали о такой кутерьме?

**Следователь:** Да, слыхал.

**Этингоф:** Это было самое крупное конное сражение за всю Гражданскую войну. Там я руку и потерял. Что касается Булгакова, как он добрался до Владикавказа, сказать не могу. Я его не расспрашивал, а сам он на эту тему не распространялся. Домой, по его словам, он явился в предтифозном состоянии, но сумел выжить.

К тому времени – а это было, насколько мне помнится в мае, – партизанские отряды Гикало уже вошли во Владикавказ. Меня раненого отправили туда заместителем председателя ревкома налаживать советскую жизнь.

В ревком Булгакова привел Слезкин<sup>21</sup>. Слыхали о таком?

**Следователь:** Да, слыхал.

**Этингоф:** Я рад был встретиться с Михаилом Афанасьевичем. Признаться, не верил, что он выживет. Ну, раз выжил, пусть поработает на культурном фронте. Как видите, я не ошибся в Булгакове...

**Следователь:** Это как посмотреть, Борис Евгеньевич. Еще вопрос – это вы выдали письменную рекомендацию Булгакову, когда он решил покинуть Владикавказ? У меня есть

---

<sup>21</sup> Слезкин Юрий Львович (1885–1947) – писатель, сделавший себе имя еще до революции. Автор трехтомного собрания сочинений и в том числе нескольких романов, самый известный из которых «Ольга Орг» был переведен на многие европейские языки. По официальной версии, именно Ю. Слезкин устроил Булгакова в литературный отдел (лито) Владикавказского Нарообраза. В дальнейшем, особенно после постановки во МХАТе «Дней Турбиных», их пути разошлись. В романе «Столовая гора» (опубликован под названием «Девушка с гор». М., 1925) прототипом одного из главных персонажей Алексея Турбина является Михаил Булгаков.

сведения, будто Булгаков, устраиваясь на работу в Главполитпросвет, использовал подписанный вами документ?

**Этингоф:** Да, я дал ему рекомендацию. К тому моменту Михаил Афанасьевич уже положительно зарекомендовал себя на культурном фронте. В его активе было несколько вполне боевых пьес, его назначили деканом Университета горских народов и на его открытии он сидел в президиуме рядом с Кировым, так что ничего криминального в этой паре строк я не вижу.

**Следователь:** В выдаче рекомендации ничего отрицательного нет, но беда в том, что вы написали ее как раз в тот момент, когда во Владикавказ пришла директива из Центра почистить местный партсоваппарат от беляков. Вопрос, не вы ли подсказали Булгакову, что ему пора покинуть город?

**Этингоф:** Нет, Семен Григорьевич. Я ничего Булгакову не сообщал и не предупреждал.

**Следователь:** Хорошо. И все-таки, согласитесь, с этой рекомендацией вы допустили оплошность, недостойную коммуниста...»

\* \* \*

Всю ночь я копался в Интернете.

Факты подтверждались. Существовал и Борис Евгеньевич Этингоф<sup>22</sup>, и тиф, сваливший Булгакова весной 1920 года и не позволивший ему эвакуироваться из Владикавказа вместе с белыми. По словам первой жены Булгакова Татьяны Николаевны Булгаковой-Лаппы, муж заразился в конце зимы или начале весны.

Беда в том, что Татьяна Николаевна даже в шестидесятые годы, уже будучи замужем за Киссельгофом, по-разному рассказывала о болезни Михаила Афанасьевича и постоянно – скорее всего, намеренно – путала даты и события. Кроме того, она никогда не упоминала, что Булгаков побывал в плену у красных, хотя теперь мы точно знаем, что так было. Несмотря на нанесенные ей обиды<sup>23</sup>, ее верность первому мужу была беспредельна.

Это была поистине благородная женщина. Мише она была верна до гроба...

Напоследок, под утро, перелистывая протоколы допроса, я наткнулся на тетрадный, сохранивший следы тщательного комканья, пожелтевший листок в линейку. Он пялился на читателя штампом в правом верхнем углу, подтверждающим дату поступления, номером дела и росписью. Низ документа был оторван, так что определить автора или хотя бы доброжелателя, переславшего органам обреченное на уничтожение, но по какой-то причине всего лишь смятое письмо, – было невозможно.

«...по самой прозаической, Миша.

По самой прозаической!!!

В случае разрешения постановки Петробычу пришлось бы встретиться с тобой. Неважно, когда и где это произошло, скорее всего, на премьере, а это никак не входило в его планы. Более того, пьесу непременно выдвинули бы на государственную премию, и она, поверь моему опыту, получила бы ее.

Что тогда?

---

<sup>22</sup> О нем упоминала Е. Ф. Никитина, чьи литературные вечера – «никитинские субботники» – пользовались заслуженной известностью в среде московской творческой интеллигенции. Сама Евдоксия Федоровна (1895–1973) была замужем за А. М. Никитиным (1876 – после 1920), министром Временного правительства. Булгаков был хорошо знаком с Никитиной, и, по непроверенным сведениям, она являлась одним из прототипов Серафимы Корзухиной в «Беге».

<sup>23</sup> Булгаков развелся с ней с приближением первого крупного литературного успеха. Более того, роман «Белая гвардия» он посвятил Л. Е. Белозерской, с которой на тот момент его связывали исключительно мимолетные любовные отношения.

Как быть с устоявшейся формой диалога, когда Петробыч слышит вопросы, но не дает ответов. Вообще-то он отвечает, но только опосредственно, с помощью реплик, которые, будь уверен, тем или иным путем, но обязательно доходят до тебя. В разговор, по моему мнению, вовлечены десятки фигур, в том числе и немилый тебе Немирович-Данченко.

Твой могучий собеседник водит тебя на поводке. И не тебя одного, Миша. Я, например, постоянно ощущаю на себе его недреманное, порой даже доброжелательное, око. После ареста наши с Массом фамилии сняли из титров «Волги-Волги», где мы были сценаристами, но гонорар заплатили.

Полностью...

Как это понимать?

В нашей компании много достойных людей. Тот же Женя Шварц из Ленинграда, «гуморист» Зошенко, знакомый тебе Борис Пастернак или твой прежний приятель из «Гудка» Валька Катаев, так что не преувеличивай тяготы своего положения. За те роли, которые нам достались, не награждают и не премируют. Таково устройство судьбы, она не очень щедра на выдумки.

Возможно, его неумолимо тянет поговорить с нами, однако, будь уверен, он никогда не пойдет на это.

Разве что с Пастернаком...

Пока ты «пусть и не все видишь, как оно есть на самом деле», пока ты достойно исполнишь роль «честного и благородного человека», – тебя будут защищать от таких литературных громил и волкодавов, как Всеволод Вишневский или господин-товарищ Киршон, у которого не только рельсы, но и кошелек гудит от избытка целковых.

Я уверен, Петробыч знает о тебе все, что поставляют ему доблестные чекисты, и более чем уверен – он познакомился с твоим последним романом...

Ах, этот роман!.. Эти закатные слова!..

Как ты додумался до своего Воланда?!

Мне представляется, что именно чего-то такого, библейского, он ждал от нас.

От нас всех!!

Черт меня дернул заигрывать с «мандатами» и «самоубийцами»! Надо было вот так, как ты... рубануть с плеча!

Не забывай, с кем мы имеем дело – с недоучившимся семинаристом. Впрочем, почему недоучившимся? За неуместный революционизм и пылкую горячность его вышибли из богоугодного заведения как раз накануне выпускных экзаменов. Так что курс Петробыч одолел полностью и, говорят, был в числе лучших учеников. Забыть, чему учат в семинарии, невозможно – это я ответственно заявляю. Там умели вправлять мозги.

Задумайся, Миша, почему тебя до сих пор не отправили в места отдаленные? Как при таком количестве улик ты все еще цел и здоров? Меня, например, наказали за куда менее страшные преступления, чем те, что числятся за тобой. Неужели ты, трезвого ума человек, можешь поверить, что о тебе «забыли»? О таких, как мы, не забывают. Не слившись «с гурьбой и гуртом», не включившись во вселенское хамство, которое характеризует новоявленных защитников социальной справедливости, мы были обречены изначально. Что уж говорить о твоей или, например, Зошенки, спорной биографии, но об этом молчок, чтобы доблестные чекисты не взяли след.

Значит, продолжает действовать «охранная грамота», выданная тебе в виде телефонного разговора в апреле 1930 года.

И не только!.. Я уверен (здесь исправлено «есть основания утверждать»). – *Примеч. соавт.*), эта «охранная грамота» будет действовать и после твоей смерти. О тебе Сталин никогда не забудет.

Знаешь почему? Потому что ты – единственный, кто сумел достойно рассказать о нем. Все остальное, Миша, пошлая риторика, а ты сумел, да еще на библейском уровне... Могу вообразить, что испытал во время чтения твоей книги бывший семинарист.

Как тебе это удалось?

Как тебе пришло в голову обрядить его в сатанинские одежды и послать на землю карать и миловать?!

Именно так – *карать и миловать*!!

Многие в нашем кругу хватаются за голову – как он додумался написать роман о Сатане? Ах, ах, ах!.. И никто, поверь мне на слово, не догадался, что роман вовсе не Воланде, а о нем и его *политбюро*.

Никто и не догадается!.. По крайней мере вслух... В этом можешь быть уверен – твой главный герой приложит все силы, чтобы скрыть истину. По его расчету, она должна всплыть, когда созреют «исторические условия».

Он мыслит исключительно «историческими» категориями.

Как ты додумался обрядить его в люциферовы одежды?

Я полагаю... Я просто уверен – ему понравилось. Очень понравилось... Это звучно, объемно, свежо и вызывает сочувствие.

Знаешь почему?

Да потому что тайна куда неотразимее и мощнее действует на воображение поколений, чем самое обоснованное восхваляющее или ниспровергающее объяснение. Если «там», «за горизонтом», существует что-то недосказанное, что-то «манящее», туда и будут тянуться потомки.

Таковы законы истории.

Такова сила сказки!

Поэтому ты уцелел.

Ты ухитрился уцелеть, когда людей сажают за басни.

За самые безобидные басни!

Если полагаешь, что я испытываю обиду или зависть, будешь прав, поэтому ты никогда не увидишь это письмо. Даже на небесах!.. Я обязательно сожгу его или использую по назначению, что более соответствует моему душевному состоянию.

P.S. ...по-прежнему, даже после твоей смерти, я испытываю к тебе уважение и желаю всего лучшего на небесах, но меня бесит мысль, что кто-то другой додумался написать *такой* роман. Насколько мне известно, ты работал над ним десять лет.

И не свихнулся.

Помнишь, я читал его у тебя в один из моих нелегальных приездов в Москву? Кажется это было в апреле 1939 года. Признаюсь, я испытал тогда самую изощренную, самую жгучую муку, которую только может испытывать литератор.

Помнишь окончание романа, когда на крыше Пашкова дома появляется нелепый евангельский персонаж, напоминающий инструктора ЦК?

Помнишь его слова?

В них разгадка:

«... – Он прочитал сочинение мастера (подчеркнуто автором письма. – Примеч. соавт.), – заговорил Левий Матвей, – и просит тебя, чтобы ты взял с собою мастера и наградил его покоем. Неужели это трудно тебе сделать, дух зла?»

– Мне ничего не трудно сделать, – ответил Воланд, – и тебе это хорошо известно. – Он помолчал и добавил: – А что же вы не берете его к себе, в свет?

– Он не заслужил света, он заслужил покой, – печальным голосом проговорил Левий».

Он понял намек.

И небезызвестный тебе Фадеев, прикинувшийся Левием Матвеем, тоже.

Я тоже.

Это был нокк-аут, Миша. Такую обиду может выдержать далеко не каждый.

Я выдержу, Миша. Я справлюсь. Меня простят, и я опять буду сочинять сценарии, но пьесы, тем более басни, никогда.

Ты слышишь, Михаил?

Ни-ког-да!!!

Я никогда не смогу воспользоваться твоей новой моралью.

Эх, дурак я дурак, как сказал твой боров, сумевший побывать на шабаше. Если бы раньше...

Ты думаешь, я не смог бы написать *такую* пьесу?

Смог бы, и ты это знаешь. Я сумел бы обойти тебя в юморе. Я переплюнул бы тебя в сюжете, в деталях, даже в ритме!..

Я уступил тебе в смелости, а трусость, по твоим же словам, есть самый страшный грех, каким человек может себя унижить».

\* \* \*

Не помню, сколько раз я перечитал этот документ. Назвать его фальшивкой, не поворачивая язык. Даже если и так, пафос неотправленной исповеди был неотразим, как, впрочем, и убедительность догадки.

Кто написал его?

Во-первых, судя по дате, это был человек, который пережил Булгакова; во-вторых, очень близкий к адресату и, в-третьих, он писал пьесы, но пострадал за басни. Был сослан, но имел возможность посещать Москву.

Аналитика подсказала – кандидатур было две, и все-таки, как ни странно это звучит для поклонника истории, мне более по сердцу был некий сценарист, приятель Есенина, разделявший его имажинистские пристрастия; драматург, баснописец, любимец творческой Москвы и редкий остроумец.

Сами собой вспомнились незабвенные, убаюкивающие строчки:

Видишь, слон заснул у стула.

Танк забился под кровать,

Мама штепсель повернула.

Ты спокойно можешь спать.

За тебя не спят другие.

Дяди взрослые, большие.

За тебя сейчас не спит

Бородатый дядя Шмидт.

Он сидит за самоваром —

Двадцать восемь чашек в ряд, —

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.